

18+

БРЮС ФЁДОРОВ



СТРЕЛЬЦЫ
ОКАЯННЫЕ

Брюс Фёдоров
Стрельцы окаянные

«Издательские решения»

Фёдоров Б.

Стрельцы окаянные / Б. Фёдоров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-517614-1

Девяностые годы лихой колесницей пронесли по бывшей стране Советов. Разговоры, переговоры, доходы, расходы, учет, перерасчет, прибыль и убыль — все свилось в неразрывный клубок перестроечной жажды наживы. Вот и в городе Колупаевске усилиями младшего помощника старшего дворника ЖЭКа №5 Митрофана Царскосельского и двух его друзей начал зарождаться капитализм. Как изменится жизнь колупаевцев с появлением первого кооператива и куда приведет предприимчивую троицу погоня за легкими деньгами?

ISBN 978-5-00-517614-1

© Фёдоров Б.
© Издательские решения

Содержание

Глава I. Нас водила молодость	6
Глава II. Не поют соловьи в терновнике	28
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Стрельцы окаянные

Брюс Фёдоров

Тихо вспомним расстрельные 90-е. Время отчаянных и отмороженных. Время молчания ягнят и разгула мясников. Время безудержных фантазий, обманных слов и лживых обещаний.

Время первобытной китайской косметики и героинового флёра. Время оптических прицелов и пластика, Время золотых тельцов и их пещерных пастухов.

*Корректор Александра Приданникова
Иллюстратор Марина Шатуленко
Дизайнер обложки Мария Бангерт*

© Брюс Фёдоров, 2020
© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2020
© Мария Бангерт, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-7614-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава I. Нас водила молодость

– Ты, паря, должен слушать старших и понимать, а поняв, уважать их, – внушал домовый дворник Потапыч своему собеседнику, лежавшему на неказистом топчане со сбитыми ножками и укрытому с головой пёстрым, в цветных заплатках покрывалом. Из-под покрывала высовывался худосочный зад, затянутый в протёртые до белизны джинсы с распушенным ремнём, а также правая ступня со спущенным до половины давно не стиранным носком зелёно-жёлтого цвета.

– Ты вот думаешь, метла – это что? Палка с ветками? Безделица? Вещь пустяшная? Ан нет. Шалишь. По молодости лет тебе, конечно, не понять, потому как неуч ты беспросветный. И не возражай мне! – Дворник в сердцах прихлопнул по столу ладонью, сплошь покрытой сетью синих венозных протоков. От неожиданного удара разом подпрыгнули вверх тарелка с куском недоеденного бутерброда с плавленым сыром и гранёный стакан с недопитым бурым портвейном. Потапыч грозно воззрился на молчаливого собеседника, за которого он всё больше принимал торчащую из-под одеяла джинсовую задницу. – Эта метла – моя кормилица.

Дворник, не покидая кособокого табурета, обитого поверху ватной подстилкой, с трудом дотянулся до важнейшего атрибута в нехитром арсенале дворницкого инструментария. Движения его были предельно неверными. Он дважды промахивался и дважды отважно балансировал на табуретных ножках. Не выпуская из правой руки стакана с портвейном, он всё же сумел левой ухватить берёзовый черенок и пристроить его к давно небритой щеке. Теперь, со стаканом, заменившим ему державу, и метлой, превратившейся в царский скипетр, Потапыч стал похож на императора одной захолустной африканской страны, грозно взиравшего на своих коленопреклонённых подданных. Подданные воздевали руки вверх и восклицали пронзительными голосами: «Хо!» – славя своего вождя и отца всех народов, над головой которого сияет вечное солнце.

Этой завораживающей картины счастливый обладатель берёзовой метлы не увидел, так как был занят тем, что нацеливал свой валенок с подшитым кожей задником в пятую точку распростёршегося на топчане незнакомца, который, как ему показалось, сознательно никак не реагировал на его глубокомысленные сентенции.

Нет никакого сомнения в том, что дворник в конце концов попал бы – может быть, не с первого раза, но всё же попал бы – в ягодицы молчаливого чухана, но неожиданная мысль, посетившая его затуманенный алкоголем разум, заставила его на время отложить воплощение в жизнь столь коварного замысла.

Просто Потапыч вовремя взглянул на полупустую бутылку портвейна и сообразил, что дорогого его сердцу напитка хватит разве что на ещё один стакан. Делиться таким счастьем он ни с кем не собирался. По этой причине ударник метлы и лопаты решил не тревожить притворявшегося спящим соотечественника и перенёс своё внимание с задницы на его голую пятку, которой продолжил изливать свою душу:

– Ты, Митроха, в нашем деле ещё кутёнок несмышлёный, а меня сам Митрич учил.

Глаза дворника благоговейно закатились к потолку, точно он на нём разглядел образ святого Дмитрия. Нет, разумеется, не великомученика Дмитрия Солунского, а скорее другого страдальца-тёзки, прославившегося своим благочинным житием в сфере городского коммунального хозяйства, перенёсшего многие изощрённые измывательства начальства, которые после безвременной кончины с метлой в руках возвели его на пьедестал покровителя всех дворников и сторожей.

– Откуда тебе знать, недотёпа ты этакий, что сметать пожухлые листья с детской площадки надо с умом. Вначале, ты должен пройтись посередине, оставляя за собой чистую

полосу, затем вдоль, также через центр. Одним словом, размечаешь как бы доску для шашек, а мусор с листьями метёшь в угол каждого квадрата и формуешь из них кучки. Усваиваешь?

Должно быть, сию великую премудрость Потапыч услышал не от безвинно почившего от перепоя Митрича, а подглядел у дворового кота, известного всем под невразумительной кличкой Мойша, который имел дурную привычку наведываться ночами в детскую песочницу и облагораживать её своими фекалиями, расставляя вонючие холмики в строго геометрическом порядке.

За недогляд молодые мамыши из третьего и шестого подъездов регулярно устраивали Потапычу выволочку, чем изрядно портили ему настроение. Понятно, что после несправедливых наветов, обрушившихся на его хмельную голову, Потапыч расстраивался и не мог дальше заниматься творческой деятельностью, а потому ставил свою метлу в пыльный угол, запирали на крючок дверь в каморку и доставал из обшарпанной тумбочки заветную бутылку портвейна «Три семёрки», всенародно почитаемого как «три советских удара по печени».

При рождении родители дворника Потапыча назвали своего долгожданного первенца звучным именем Энгельгардт, очевидно позаимствовав его из реестра старонемецких фамилий или рассказов о подвигах некоего полковника Энгельгардта, командовавшего отрядом прусских «чёрных гусар» в битве народов под Лейпцигом в 1813 году.

В тот незабываемый осенний день бравый полковник, вскочив на боевого коня, повёл свой отряд на французские позиции. Однако, то ли из-за коварного утреннего тумана, то ли по причине всеобщего пьянства накануне в цыганском таборе, но удалой кавалерийский налёт не вполне удался. Голова лихого рубаки всё ещё находилась в плену взрывной смеси из бордоского лафита и искрящейся «Вдовы Клико», придавленной сверху литровой бутылкой семидесятиградусного абсента «Зелёная фея». Однако судьба была милостива к всепьянейшему кутиле.

Ведомые лихим рубакой гусары шустро проскочили мимо батарейных редутов, чем немало удивили артиллеристов старой гвардии французов, и углубились в не обозначенный на карте перелесок далеко от ставки самого Наполеона Бонапарта, где неожиданно для себя наткнулись на выжидавшую в засаде конницу маршала Мюрата. Расслабившиеся французские кавалеристы никак не ожидали появления обнаглевших от пьянства пруссаков. Ряды их были расстроены, а коварный план изобличён, что доставило немалую радость австрийско-русско-прусскому командованию.

Принимая из рук короля Пруссии Фридриха III Железный крест, гусарский полковник скромно умолчал о первопричине своего подвига и предпочёл сосредоточиться на воспоминаниях о черноокой красавице-цыганке Зане и её шелковистых руках, ещё так недавно обнимавших его задубевшую на ветру в черед бесконечных сражений кожу.

О заслугах знатного родоначальника своего имени Потапыч, разумеется, ничего не знал, но также, как и его предшественник, любил побаловать себя красненьким. Он не имел ничего против того, что его когда-то называли Энгельгардтом, хотя и немало претерпел от своих одноклассников, которые на все лады склоняли и переиначивали столь своеобразное имя.

В эпоху гражданской зрелости пополнив ряды сообщников по уборке листвы и снега, Потапыч был порядком удивлён, как быстро его звучное имя Энгельгардт переехало на место отчества, уронив таким образом честь отца огорошенного дворника. Однако новое прозвание – Потап Энгельгардтович – прижилось, но не очень.

Руководство и сослуживцы постепенно всё больше стали обращаться к нему как Потап Ягелевич – видимо, по причине того, что выговаривать «Энгельгардтович» было нудно и сложно. А может, из-за притянутых к ушам глаз потомка всех гусар, напоминавших зрачки северных оленей, которые, как известно, очень любят мох-ягель, на котором растёт прихваченная морозом брусника. И всё было бы хорошо, если бы беспощадное время в свою очередь

не вытравило из его Ф. И. О. упоминание о северном лишайнике, окончательно затвердив лишь дворовый позывной – Потапыч, что, впрочем, скажем прямо, звучит по-семейному и очень тепло.

Что же действительно было записано в паспорте, выданном Потапычу районным ОВД, оставалось тайной за семью печатями до конца его дней.

Незнакомец, который спал или притворялся спящим на топчане в дворницкой у тёплой стенки, вряд ли слышал пьяные увещевания дворника, но его последнюю и самую знаковую фразу из обширной и назидательной речи он всё же уловил:

– Снег чистить – это тебе не песок перекидывать. Тут сноровка нужна. Что толку долбить его, как дятел сосновую корку? Вот ежели, скажем, ты берёшь скребок или движок, то должен вначале плавно вести его по дороге и лишь потом, набрав поболее снега, делаешь им поворот в сторону, к бордюру. Не спеша и не отрываясь от поверхности. Вот такая закавыка. Тут тебе и объёмы, тут тебе и премия. А то чиркаешь, как нехристь, лопатой по льду, а я за тебя отдуваться буду?

Воспоминания о полученной премии, на которую были куплены пара бутылок портвейна и столько же банок с сардинами в масле, подогрели остывающий энтузиазм Потапыча. Сам Бельбель Ушатович, глава ЖЭКа, строгий и бескомпромиссный человек, выбившийся в коммунальные начальники после позорного увольнения из армии за потраву вверенного под его попечительство продовольственного склада, как-то на общем собрании произнёс:

– Ты, Потап Ягелевич, – наша гордость. Ураган, а не человек. Один – ЗИЛ-110 заменяешь.

«Этому конца не будет», – решил про себя обладатель голой пятки и жёлто-зелёных носков и наконец-то высунул из-под одеяла давно нечёсаную и косматую, как у тибетского мастифа, голову. Митрофану Царскосельскому, сокамернику Потапыча по вонючей дворницкой, уж очень не хотелось размыкать закишие слёзной плёнкой глаза. В кои веки ему приснился порядочный, а главное, многообещающий сон. И надо же было этому чудесному видению посетить его в этой убогой берлоге, в которой и десяти квадратных аршин не наберётся? В которой, помимо полуразвалившегося топчана, прозябали одинокий стол, застланный протёртой до дыр клеёнкой, четыре самодельных табурета, телевизор «Юность» на дребезжащем холодильнике, а также местами проржавевший умывальник под краном, из которого мерно капала холодная вода.

А Митрофану приснилось ровно то, как его игрушечные солдатики из сомнительного олова, добытого кустарным образом из разобранного домового водопровода, которыми он приторговывал, в основном безуспешно, на местном рынке, вдруг выстроились в парадные колонны и под барабанную дробь и посвист флейт двинулись вперёд, чеканя шаг и делая поворот головы строго направо – в сторону украшенной кумачом трибуны, на которой находился их предводитель и генерал Царскосельский.

Стройные колонны маршировали и периодически кричали «ура», откликаясь на призывы своего военачальника, который не забывал приветственно вскидывать руку каждый раз, когда мимо проплывал боевой штандарт. Вместо ружей солдаты несли большие рублёвые монеты, которые складывали у подножия постаментов вождей. Металлическая гора всё росла и росла, поднимаясь к самому небу, а на вершине её стоял он, окружённый потоками света и с солнечной короной на голове.

Уже год, как Митрофан открыл собственное дело и начал приторговывать оловянными поделками. В это время в стране эпохи застоя и перестройки вдруг вспыхнула, как бы сама по себе, идея возрождения кооперативной торговли и мелкого производства.

Митрофан Царскосельский решил попробовать себя в новом деле хотя бы потому, что других дел у него на тот момент не было вообще. На пятом курсе он умудрился вылететь из высшего учебного заведения наподобие перезрелого огурца из банки с перебродившим рассолом. Высоты института лёгкой промышленности и будущего технолога – мездрильщика шкур диких и одомашненных животных ему так и не покорились. Пришлось искать вдохновения в областях редких и туманных, принаравливая руки и голову к работе гибщиком труб, испытателем бумажных мешков, лакировщиком глобусов и даже демонстратором пластических поз в полуполюгальных студиях натурной скульптуры и живописи.

– Не моё это всё, не моё, – приговаривал Митрофан каждый раз, выходя из кабинета очередного захудалого начальника и засовывая во внутренний карман трудовую книжку с вложенными в неё несколькими листками казначейской бумаги рублёвого достоинства.

В итоге, под начало всезнающего Потапыча студент-недоучка попал по дикому случаю, который всегда подстерегает нас на жизненной дороге. Испытав себя во многих передрыгах, к торжественному вручению ему берёзовой метлы Митрофан отнёсся совершенно спокойно.

– Поэт в ожидании озарения, – философски провозгласил он, справедливо посчитав, что иметь про запас гарантированный тёплый угол никому не помешает. Дело в том, что собственной жилплощади у гражданина Царскосельского никогда не было. Удобства цивилизации в виде отдельной квартиры или хотя бы комнаты в коммуналке оказались для него недостижимыми. Удачей было хотя бы то, что государство всё-таки расщедрилось на койко-место в студенческом общежитии, наивно рассчитывая на то, что будущий специалист с высшим образованием выедет в дебри Красноярского края, чтобы с энтузиазмом заняться животрепещущими вопросами увеличения маточного поголовья норок, чтобы потом делать из них меховые горжетки.

А ведь было и такое:

Испробовав себя в разных ипостасях, Митрофан всё-таки добился своего и попал в поле зрения властей предрержащих.

«Наивная вера в человека может разрушить даже самую передовую идеологию» – к такому неутешительному выводу пришёл первый секретарь райкома, на заседании которого рассматривалось личное дело злостного прогульщика, комсомольца и дебошира Митрофана Царскосельского.

Митрофан стоял у длинного стола, покрытого зелёным сукном, за которым непробиваемой македонской фалангой сгруппировались члены выездной комиссии, собравшиеся воедино, чтобы дать принципиальную оценку моральному и политическому облику несправедливого нарушителя кодекса строителя коммунизма и хронического двоечника из почитаемого миноблпрофобразованием института.

Шло заседание, люди потели и злились оттого, что тратят свое время на пустяки, а студент-тунеядец изо всех сил старался придать своему лицу выражение глубочайшего раскаяния и показать, что он с трепетом и надеждой воспринимает упрёки и проклятия, сыпавшиеся на его бедовую голову из уст комсомольского вожака.

– Как ты дальше собираешься жить, Царскосельский? – звенел на высокой ноте секретарский голос. – Лёгкой дорожкой по жизни пройти хочешь, в то время как твои товарищи денно и ночью должны бороться и побеждать, безответственный ты человек? – Сей пассаж, произнесённый с глубоким чувством, удался главе райкома особенно хорошо.

Перед его глазами ярко вспыхнуло полярное сияние, в котором он сам с райкомовским знаменем в руках идёт на редуты идеологического противника впереди атакующей цепи сотрудников своего аппарата. Безостановочно стучат пулемёты, грохочет артиллерия, земля бугрится от взрывов, и пули рвут в клочья обожжённое порохом полотнище.

Но крепки ещё руки; всё ещё держится иссечённое осколками древко, и уже нацелено в грудь запаниковавшего врага золотое копьевидное оконечье.

Все – герои, победа близка, но нет на фланге бойца Митрофана. Сбежал, подлец, прихватив бутылку общественного портвейна, чтобы поспеть на тусовку с девочками и расписать марьяжный «гусарик». И хлынула тогда в образовавшуюся брешь сабельная конница, сметая райкомовские порядки. А как хорошо всё начиналось.

– Так что же нам делать с тобой? – тяжело вздохнул комсомольский вожак, отгоняя от себя грустные мысли. – Вот и ориентировка на тебя из органов пришла. Опять фарцой занимаешься. Джинсы по общагам толкаешь. Выходит, ни себя, ни нас, твоих наставников, не жалеешь? На статью нарываешься.

Не знал секретарь, что ему делать с непутёвым членом своей организации: то ли с хреном съесть, то ли дать шанс для покаяния? Молод ведь ещё. Все мы не без греха. Может, как-нибудь всё перемелется, мука будет.

О чём не ведал комсомольский начальник, то прекрасно знал Ильич, изображённый на картине, висевшей над секретарским столом. Знал и грустил, прищуривая один глаз и заложив большой палец правой руки за жилетку. Сколько раз всем разжёвывал, растолковывал:

– Нет беды хуже формализма и бюрократизации живой теории. Быстро доведут они любое хорошее дело до большой напасти.

Бородатые классики марксизма перерыли все заповедные уголки в книжных сокровищницах Лондонской библиотеки и Гейдельбергского университета, разыскивая противоядие от вековой привычки человека плевать на лысину ближнего и на всё общественное мироустройство. Так и не смогли найти, как ни пытались. Оставили нам лишь туманные советы и что-то ещё не вполне вразумительное о частной собственности и об инстинкте личного обогащения.

Разумеется, не знал ничего такого и Митрофан Царскосельский, вообще не друживший с такой учебной дисциплиной, как теория марксизма-ленинизма, находя её наукой умозрительной и мало практичной, за что имел невыводной неуд.

Сколько раз преподаватели кафедры научного коммунизма, уподобляясь монахам нищенствующего ордена кармелитов, бросали нерадивому студенту спасительный «конец», надеясь вытащить заблудшую душу из болота мрака и незнания. Ведь свой же он, как ни крути, до самой мозговой косточки узнаваемый выходец из среды передового рабочего класса.

Хотя в этой части они, возможно, ошибались. В той деревне, которую тридцать лет назад появление на божий свет крикливого младенца Царскосельского озарило невиданным прежде сиянием, никто о его матери путного слова сказать не мог. Ну да, была такая смешливая женщина, вроде как Надя, большая затейница по части забористых песенок и кружевных платьев, которые так славно обвивают танцующие ноги.

Родила бойкая дивчина как-то ненароком своего младенца и через год скинула его на руки родной тётке, юркнув в чрево плацкартного вагона, унёсшего её в морозную дымку, куда-то в восточном направлении, искать лучшую долю. Кто был его отец и в какой момент подсуетился удачливый мужичок, сдув пыльцу невинности с бутона-первоцвета, так и осталось неизвестным.

Оттого загрузившая тётка обставила приставной столик и колыбельку подкидыша фотографиями первопроходцев Севера и героев канувших в Лету баталий, чтобы стал её чадонюшка похожим на одного из них.

Не удалось, не получилось Митрофанушке допрыгнуть до вершин классовой сознательности. Утянула его подворотня в свои липкие объятия, и потому, следуя генетической предрасположенности, сбежал и он, махнув на прощание сердобольной тётке своей ладошкой. Огни большого города навечно припечатали его к своим фонарным столбам.

Всё знал о себе студент Царскосельский, но того не знали ни деканат, ни молодёжный заводила факультета, ни даже вооружённые передовой марксистской диалектикой преподава-

тели, так и не сумевшие вбить в голову упёртого разложенца коммунистические идеи или хотя бы, на худой конец, признательность за свои чистосердечные потуги.

Вся могучая система мирового коммунизма в одночасье сломалась, натолкнувшись на презрительную ухмылку прогульщика и любителя нетрудовых доходов Митрофана. Не выдержала она подлого удара грязной пяткой, который нанёс ей взлелеянный десятилетиями основной общественный элемент.

Темна вода в облацех, особенно если она плещется в душе человеческой.

Однако пока на ветру хлопали крыльями красные знамёна и счастливые демонстранты несли на плечах портреты суровых вождей, студент Царскосельский вынужден был притворяться и стоять навтыжку перед строгим экзаменатором, выслушивая полные коварства вопросы.

– А скажите мне, молодой человек, – кривил губы в ехидной усмешке маститый профессор, – как вы видите дальнейшее развитие социалистической собственности на средства производства в ходе построения коммунистического общества?

Ни переминания с ноги на ногу, ни даже нутряное мычание ничем не смогли помочь Митрофану осчастливить правильным ответом взгрустнувшее человечество. В его сознании, уже тронутым водочным перегаром, никак не уместилось представление о том, что он должен как-то заботиться о сохранении и приумножении народной собственности. Общественной, но ведь не его.

А раз так, то какого рожна, скажите на милость?

В итоге, обобщая опыт пребывания студента Царскосельского в стенах института, трудолюбивая секретарша на марксистской кафедре, Верочка, уже как пару лет зачислившая сама себя в число беспросветных старых дев с крысиными косичками, напечатала прелюбопытнейший документ под общим названием «Что мы можем ожидать от студента 4-го курса Царскосельского?».

Получился двухстраничный меморандум, в начале которого ярко и доказательно был расписан неприглядный облик Митрофана, попавшего в удавку чуждой идеологии. Хотя, по правде говоря, в конце заглавного листа ему всё же давались авансы на выход из-под ярма коварного капитализма при условии неусыпного контроля над ним партии и комсомола.

Вторая же страница означенного опуса благоухала росписью весьма занимательных и оздоравливающих вопросов, которые следовало задавать незадавшемуся и нуждавшемуся в опеке студенту. Причём на его выбор.

Перечень был хорош и, несомненно, отличался глубокой продуманностью, так как был подкреплён протоколом совместного заседания кафедры и деканата. Особенно впечатляли следующие пункты:

«Митрофан и социалистическая революция»,

«Митрофан и борьба с беспризорностью, всеобщей неграмотностью и комчванством»,

«Митрофан и задачи по повышению урожайности яровых на примере отдельных районов Кустанайской области».

Если целинные земли Казахской ССР, по которым пылили комбайны и рокотали трактора, студент Царскосельский ещё мог себе представить, и то не сразу, разве что при помощи опохмелившегося дворника Потапыча, то дело с заковыристым словом «комчванство» обстояло значительно сложнее.

С первой частью работы над билетом Митрофан справился, хотя не без дружной подсказки доцента и ассистента кафедры, и разложил-таки каверзное слово на две составные части. Вышло «коммунистическое чванство». Этимологию «чванства» он кое-как, и то больше по интуиции, осилил и обозначил в своём ответе как нечто нехорошее и очень привязчивое,

которое всё время растёт и раздувает нос и щёки по мере того, как руководитель, вылезший из кокона человеческого образа, начинает порхать с одной должности на другую, подбираясь под самые облака.

А вот объяснить, как это существительное может сопрягаться со столь громоподобным прилагательным – «коммунистический» и какие при этом возникают ассоциации, не мог и крошил зубы о гранит ленинского выражения, но сдвинуть с места этот камень так и не сумел. Экзаменаторы смотрели на него, удивлялись, хмурили брови и загадочно о чём-то шептались между собой.

– Ладно, Царскосельский, – заключил председатель комиссии упавшим голосом. – Ставим вам «удовлетворительно». В конце концов, вы смогли нам кое о чём поведать. Это вселяет надежду. Вы переводитесь на следующий курс – так сказать, авансом. Летом, надеюсь, вы уделите внимание нашему предмету и расширите ваш кругозор в области научного коммунизма.

Митрофан сразу согласился и расширил, выскочив из вуза со справкой «о неоконченном высшем образовании».

Поселившись у дворника Потапыча, он тут же применил полученные в институте знания и со всей скрупулёзностью знатока марксистской диалектики дал передовику метлы и мусорного ведра определение, назначив его ярким примером человека нового типа, знаменующего собой начало успешной «смычки промышленного пролетариата с деревенской беднотой и нарождавшимся колхозным крестьянством».

Однако такое выражение вскоре наскучило бывшему студенту-разночинцу, который посчитал его растянутым и чрезмерно вычурным. Поэтому Митрофан недрогнувшей рукой повыкидывал из него лишние определения, сократив наукоподобную фразу до минимума. У него получилось «проледер», которое сразу понравилось ему и было в качестве никнейма приклеено к настырному дворнику – только за то, что тот постоянно мешал Митрофану безмятежно почивать на старом топчане.

Как говорится, проверяй свои выводы временем, которое через месяц-другой указало расстриге из института лёгкой промышленности на то, что в слове «проледер» усматривается излишнее благозвучие, которого злопыхатель Потапыч, безусловно, не заслужил по причине безостановочного треньканья о том, что, мол, снег, забери его холера, всё идёт и идёт и что опять надо вставать в четыре утра и скрести заледеневший асфальт.

В итоге Митрофан решил окончательно остановиться на прозвище Смычок.

Таким образом заслуженный дворник Энгельгардт Потапович превратился в устах своего нахального помощника в Смычка. Однако, Потапыч не обиделся и постепенно привык к своему новому имени и всё более охотно откликался на него.

«Ну и что? – рассудительно думал он. – Кто и как меня раньше не называл. Ничего, до сих пор живой. Побывал и Потапычем, и Ягелевичем, побуду и Смычком. Грех небольшой. Нехай молодёжь клеветает. Главное, чтоб толк с неё был и чтоб листву до кучи собирала».

Единственное, к чему не привык доблестный Потапыч, – это к отсутствию к его персоне общественного внимания. Ну ни в какую ни один городской медвытрезвитель не соглашался брать его на содержание, справедливо полагая, что клиент столь высокого ранга в полдня разложит всех постояльцев учреждения заодно с обслуживающим персоналом, превратив их в алкоголиков краевого масштаба.

Ещё не ведали ни принципиальный секретарь райкома комсомола Никита Закревский, ни злостный нарушитель устава ленинской молодёжной организации Митрофан Царскосельский, что вскоре настанут лихие времена – и их судьбы переплетутся в любовном экстазе на почве совместного распила большой-пребольшой народной собственности на мелкие и мельчайшие частные кусочки, перемещаемые на заокеанские офшорные счета.

Понятие в советские годы жуткое и неведомое, но уже ставшее до невозможности привлекательным и притягательным. Выходит, не зря старались пройдошистые лазутчики из наступавшей армии капитализма, пробираясь в тыл социалистического монолита.

Попервоначалу с оглядкой, а потом всё смелее они вылезали из ширинок голубых джинсов Levi's, выглядывали из рукавов блузок Zanetti, стекали на язык с пластинок жевательной резинки Super Bubble и проникали в уши и сердца вместе с песнями Led Zeppelin.

А пока что пробуждению Митрофана предшествовало ощущение острого запаха пота, который исходил от сохнувших на электрическом обогревателе портянок дворника. Свои обмотки Потапыч носил, не стирая, шесть месяцев кряду, очевидно, в бессознательной попытке добиться аромата такой ядрёной духовитости, которая навсегда отвалила бы от его каморки любое жэковское начальство, возмечтавшее нанести ему инспекционный визит.

Подтянувшись на руках, Митрофан сел на край топчана и без промедления зарылся пальцами в свою кудлатую башку, выскребая из неё ошмётки перхоти и ости соломы, которой была набита подушка, на которой он спал.

Признаемся, что новообращённый заместитель дворника Царкосельский не очень любил мыться под горячими струями душа. К тому же в дворницкой был только умывальник с холодной водой. А многочисленные друзья, благополучно проживавшие в различных коммунальных квартирах, не очень привечали несостоявшегося философа-мездрильщика по той простой причине, что после посещения им их жилплощади комнату приходилось проветривать два дня подряд. По их мнению, партнёр по преферансу и нелегальной торговле по базарам и в тёмных подворотнях слишком много пил, изрядно курил, чрезмерно рыгал и вообще сильно портил воздух.

– Здорово, – прохрипел Митрофан, рыская глазами в поисках съестного по столу, сплошь уставленному немывтыми стаканами и фаянсовыми тарелками с отбитыми кромками, на которых временами встречались крошки неизвестного происхождения.

За время сна своего напарника лихой дворницкий старшина успел не только опорожнить две бутылки красненького, но и проглотить всю незамысловатую закуску.

И всё-таки Митрофану повезло. Он нашёл засохшую корку белого хлеба с надкусанным куском костромского сыра, которую с усердием голодной белки тут же принялся грызть, запивая неразведённой заваркой прямо из носика фарфорового чайничка.

Голова его тут же прояснилась, а остатки сладкого сновидения упорхнули в никуда, похоронив под собой гору из золотых монет.

Суровая действительность окружала состоящего на подряде работника коммунальной службы Царкосельского. Храпел в разбитом полукресле Потапыч; рядом с ним стояли его необыкновенные валенки, а голые ступни со скрюченными пальцами обхватили ножку стола с такой же сноровкой, как это обычно делает предводитель стада бабуинов, взбирающийся по лиане на вершину тропического дерева кастанейро.

Насытившись чем бог послал, Митрофан решил, что должен отправиться по неотложным делам, к которым причислил посещение своего партнёра по коммерческим делам, Касьяна Голомудько, которого он любил именовать не иначе как «индустриальная часть моего бизнеса».

Натянув на ступни ног в рваных носках основательно растоптанные штиблеты с заострёнными мысками, начинающий негодичник удачно пронырнул в рукава и горловину толстого вязаного свитера, обмотал шею шерстяным шарфом красного цвета, накинул короткую куртку на рыбьем меху и, наконец, толкнул от себя дверь дворницкой.

За порогом его ждал февраль перестроечного 1991 года. Быстро вечерело. Знакомый до боли в затылке двор многоквартирного дома замер в ожидании фейерверка ночных событий.

На подломленной с одного конца лавочке уже разместилась троица граждан колоритной наружности, решивших, что им самое место на детской площадке, превращённой владельцами собак и неопознанной мелкой живностью, обитавшей в домовых подвалах, в коллективное отхожее место.

На расчищенном от снега деревянном сиденье был расстелен внушительный кусок коричневой бумаги, позаимствованной в ближайшем продуктовом магазине, на котором красовалась горка настриженной неровными ломтями любительской колбасы в целлофане, и буханка ржаного. Рядом возвышался скромный пузырь «Тройного» одеколona. Однако центральной фигурой пиршественного стола была, несомненно, полулитровая бутылка-чебурашка «Русской водки», с которой чьи-то торопливые пальцы уже успели сорвать «бескозырку» из пищевой жести.

– За что пьём, други? – возвестил первый голос.

– За сегодняшний успех. «Беленькая» с нами, и ещё три в запасе, – живо откликнулся второй.

– Тогда за Санька, – согласился первый. – Его удача. И за его Галку из винно-водочного, чтоб братана нашего крепче любила и нас, сырых, не забывала. Без Санька и его Галки облизнулись бы нам эти бутылки. Дефицит.

– А тебе, Санёк, желаем, чтоб тебе всегда хотелось и могло. Таково будет тебе наше задание. Представь, что ты в тылу врага и ползёшь по канаве, чтобы захватить живого языка. Бабы – это ещё те стервы. Не знаешь, за какое место их взять. Сейчас им одно надо, а через полчаса другое. Но обходительность любят. А какая тут обходительность, когда ухватишь их за холку и в постель тащишь, как вражеского лазутчика? – напутствовал удачливого покорителя женских сердец второй.

– А ещё за то, чтоб лихоманка этих перестройщиков проняла, – наконец прорвался третий голос. – Рабочему люду продыху не дают. Ни тебе выпить, ни тебе закусить. Чума на весь их дом.

Хрустнули и опрокинулись в горло вощёные стаканчики. Забулькала желанная по пище-воду. Задёрнулись морщинистые кадыки.

Одним хорошо и не зябко на ледяном ветру, а другим за тюлевой занавеской на третьем этаже, где наметился свой загул, ничем не хуже, чем на свежем воздухе. Мелькали чьи-то тени; со скоростью вращающихся лопастей ветряной мельницы взлетали чьи-то руки. Грубые мужские голоса кого-то хаяли, а кому-то признавались в любви, а высокие и визгливые женские им в тон отвечали:

– Я не такая.

Со скоростью винтовочных выстрелов раздавался звук битых тарелок и раскатистый хохот. Подогретые алкоголем чувства добирали свой градус и требовали выхода на большой простор с гарантированной перспективой вобрать в себя новых участников разудалого кутежа.

Поскальзываясь на ледяных «блюдцах» в обрамлении бордюриков из утрамбованного снега, Митрофан Царскосельский торопился покинуть разудалый двор, который по традиции миллионов других дворов, разбросанных по необъятной территории Союза, медленно, но верно погружался в атмосферу непотребства, пьяных скандалов и соседского хамства.

Подгоняемый морозцем Митрофан помчался догонять заканчивавший разворот двухсекционный трамвай.

Не зря торопился он покинуть лежбище Смычка – Потапыча. Чужало вешее сердце, что следует ждать появления грозного жэковского начальства.

Глухо ворча о неизбежных выговорах и денежных вычетах, к бытовке беспоповца Потапыча приближалась сама Аполлинария Семидолловна, отвечавшая за состояние дворового

хозяйства сразу пяти домов. По пути её наметанный взгляд не преминул заметить перевернутую урну с рассыпанными по снегу окурками и кучку битого бутылочного стекла – результат уходящего рабочего дня. Кроме того, поворачивая за угол дома, она умудрилась растянуться на тротуаре, не углядев наледь, натёкшую за три месяца из водосточной трубы.

За всё это время ни Потапыч, ни его подопечный Митрофан так и не удосужились обколоть скользкую надолбу ломом и скребком или хотя бы присыпать песком, перемешанным с технической солью. За зиму, благодаря кратковременным оттепелям и долговременным заморозкам, наледь разрослась до пределов спины кита-малолетки и теперь коварно подстерегала неосторожных прохожих, пользуясь темнотой и ранними сумерками. Из всех пяти фонарей во дворе работал только один, освещавший тусклыми мигающими вспышками площадку для мусорных контейнеров.

Одним словом, Аполлинария Семидолловна весьма прилично приложилась филейной частью и измазала липкой грязью фалду своего праздничного пальто с барашковым воротником. Помимо всех несчастий, она целых пять минут искала свою сумочку, которая, воспользовавшись сумятицей, по-подлому выскользнула из рук хозяйки и спряталась от неё за заплывший льдом водосток.

Приведя кое-как себя в порядок, ответственная работница коммунально-жилищной конторы, прихрамывая на левый бок и чертыхаясь, побрела в сторону неплотно прикрытой дверцы в подвальное помещение, где размещались основные силы дворницкой гвардии.

Дело в том, что, торопясь покинуть боевой пост, Митрофан неплотно захлопнул дощатую дверь, тем самым оставив за собой щель, через которую во мрак двора проливался яркий свет, демаскируя месторасположение дворницкой и облегчая её врагам реализовывать планы по внезапным проверочным налётам.

Аполлинария Семидолловна была полна праведного гнева. Мало того, что подведомственное ей дворовое хозяйство находилось в состоянии плачевной запущенности, так ещё по милости хорошо ей известных дармоедов она умудрилась упасть и испачкать своё самое нарядное пальто, которое она надевала лишь в исключительных случаях.

Дело в том, что в этот вечер непосредственная начальница Потапыча и Митрофана намеревалась насладиться голосами знаменитого ансамбля лилипутов, носившего загадочное название «Семь гномов и Белоснежка». Находившиеся проездом из Вологды в южный город Ростов-на-Дону лилипуты расчувствовались и по многочисленным просьбам трудящихся решились задержаться на день в приглянувшемся им областном центре.

Апогеем каждого их выступления была песня русалочки, восседавшей на скользком от воды и водорослей камне. Дитё морской стихии было очень несчастно, так как её возлюбленного завистливая ведьма Горегона превратила в розового дельфина. В окружении лилипутов, изображавших морских коньков, бедная русалочка пела заунывную песню, которую периодически перекрывал дружный хор карликовых артистов, стенавший о загубленной любви.

Когда русалочка поднимала вверх руки, взывая о помощи к равнодушным ночным звёздам, вверх взлетал розовый дельфин, подбрасываемый руками лилипутов, и истошно на украинско-польском диалекте кричал, обращаясь то ли к своей возлюбленной, то ли к ведьме Горегоне, а вернее, к обеим вместе:

– Ратуйте, граждане, все бабы – курвы!

Такого разрывающего сердце действия Аполлинария Семидолловна, естественно, пропустить не могла, хотя уже и осознавала всю тяжесть совершённой ею промашки. Ведь не просто так сказано в служебной инструкции всем начальникам в назидание: «Совмещать личное удовольствие со служебными обязанностями – себе дороже».

Этот мудрый совет Аполлиария хорошо помнила, так как он висел в жилищной конторе в виде бойкого плаката аккурат над местом, отведённым для самых заядлых курильщиков. Коммунальное мужичьё не только усердно дымило сигаретами и пялилось на плакат, но и делало собственные прямо противоположные выводы.

«Ужо я им задам. Упыри, дармоеды, бездельники. Как же, выпишу я вам премию. Ждите. Попрыгаете вы у меня. Ох как ещё попрыгаете. Так подрывать показатели по очистке снега и плевать в лицо передовому коллективу», – мстительно прикидывала в уме жэковская начальница план неизбежной расправы и решительно взялась за дверную ручку.

Спустившись в подвал, Аполлиария Семидолловна ожидала увидеть всё что угодно, но только не открывшуюся перед ней эпическую картину.

Во-первых, в дворницкой царила библейская тишина, которая бывает разве что один раз в году, в рождественскую ночь. В позе младенца-грудничка, склонившего нежную головку на плечо матери, в старом кресле мирно похрапывал дворник Потапыч. Обеденный стол олицетворял собой пример убогой обездоленности, от которой стало бы грустно даже подвальной крысе.

Во-вторых, помощника и заместителя главного дворника, проходимца Митрофана Царскосельского не было, но зато присутствовали сотворяющие чудеса валенки Потапыча и его знаменитые портянки, которые не смог бы высушить ни один, даже сверхмощный, обогреватель, стоявший под столом у самого начальника ЖЭКа Бельбель Ушатовича. Не следует забывать также о голых ступнях достойного дворника, также активно участвовавших в наполнении воздушных масс, циркулировавших в жарко натопленной дворницкой, ароматом непреодолимой силы.

Одним словом, с первым же вздохом в ноздри Аполлиарии Семидолловны ворвались столь мощные ощущения хеморецепции, какие возникают разве что у молекулярных соединений, формирующихся под жарким июльским солнцем на городской свалке, покрывающей территорию площадью не менее чем десять гектаров, в которую без разбора сваливают всевозможные пищевые отбросы и содержимое выгребных ям.

Удар пришёлся не только по органам обоняния, но и жёстко перехватил дыхание и принялся больно выдавливать изнутри глазные яблоки.

В-третьих, в довершение ко всему берёзовая метла, дотоле недвижимо стоявшая в углу, неизвестно каким образом провернулась вокруг своей оси и больно ударила черенком по руководящей голове, окончательно разрушив подготовленную под театральное посещение причёску.

Оказавшись в состоянии, равном наркотической прострации, с болью в висках Аполлиария Семидолловна застыла в полной беспомощности, наблюдая за своим парализованным телом в зимнем пальто как бы со стороны. Сумеречное сознание, ещё теплившееся в закоулках мозга, подсказывало ей, что она не может ни дышать, ни говорить, ни даже шевелить мизинцем.

Но, видимо, есть всё-таки на свете ангел-хранитель, который вырвал ударницу коммунального хозяйства из тлетворных лап вонючей дворницкой и вынес её наружу, на морозный воздух, поближе к злополучной наледи.

Придя в себя, Аполлиария Семидолловна побрела прочь, понуро опустив голову и потирая ушибленную ляжку, подальше от мрачного и негостеприимного двора, где буянили бомжи, рывшиеся в вываленном из ящика мусоре, и где скрывались зловонные валенки Потапыча, запах от которых неумолимо гнался за нею и ещё при этом нагло толкал в спину.

Не удалось ей выплеснуть на бедовые головы Потапыча и его подпевалы Митрофана Царскосельского всю меру своего праведного гнева и презрения к возвращённому на хроническом алкоголизме ханжеству и ничем не ограниченному надругательству над высшими общественными задачами. Она лишь окончательно утвердилась в своём мнении о том, что всё дворниц-

кое сословие есть не что иное, как банда неисправимых пьяниц, склонных к мелкому жульничеству и воровству. Так было во все времена, и так будет до скончания веков.

Спасаясь от навалившегося на неё наваждения, квартальная начальница всех дворников стремилась как можно быстрее погрузиться в атмосферу иного мира, где поднимаются и опускаются пыльные портьеры, скрипят разошедшиеся кресла бельэтажа, а из гримёрных сочится аромат макияжных красок и старого вспененного латекса.

Измученное реалиями советского быта сознание искало отдохновения и праздника для души, которые ей могли дать только смешливые лилипуты, исполнявшие тоскливыми голосами страстную песню русалочки о розовом и визгливом женихе, в то время как их подружки в чулках в сеточку ожесточённо трясли ядрёными ягодицами.

В принципе, Аполлиария Семидолловна была дамой весьма добропорядочной, хотя и обладала в пределах своего круга ответственности властными полномочиями столь же широкими, как и её габариты.

Начальник ЖЭКа ценил её за низкий мужской голос, чёрные волосы над верхней губой и бескомпромиссность в разрешении служебно-производственных конфликтов. Деспотичная и упрямая во взаимоотношениях с подчинёнными, Аполлиария Семидолловна на удивление проявляла высшую степень понимания и толерантности в вопросах соучастия в любимом деле уважаемого Бельбель Ушатовича, связанном с нелегальной сдачей в аренду пустующих подвальных площадей и прочей жилищной неучтёнки.

Столь выдающиеся личные качества вызвали у вышестоящего руководства лишь чувство восхищения и благодарности, подводя его к мысли о том, что, помимо дворовых забот, она вполне достойна того, чтобы возглавить весьма лакомый и ответственный участок – санитарно-техническое оснащение и ремонт жилого и нежилого фонда. Понятно, что столь золотая жила может быть доверена отнюдь не случайному человеку, а лишь тому, кто доказал свою верность и преданность в горниле непрекращающихся сражений за левый заработок.

Личная жизнь Аполлиарии Семидолловны была также наполнена величайшим смыслом и самоотверженностью. Её не сравнимая ни с чем корпулентность являлась предметом вожделения многих мужчин, по крайней мере той породы, которая западает на всё объёмное и мясистое. Их сластолюбивая фантазия утопала в холмистых складках необъятного тела, в которых могли найти пристанище любые, даже самые развязные сексуальные искусы.

Когда предводительница местных дворников и сантехников шла по улице, рассекая, как ледокол во льдах Арктики, встречную толпу прохожих своим литым и безразмерным бюстом, она могла быть уверена в том, что ей в кильватер уже выстроилась цепочка из трёх-четырёх страдальцев, задыхающихся от нахлынувших на них чувств, которые не могли оторвать заторможенных глаз от вращающихся наподобие мукомольных жерновов половинок самой привлекательной части женского организма.

Если бы в этот торжественный момент им была бы дарована возможность коленопреклонённо произнести перед кумиром своего обожания панегирик в её честь, то можно было бы не сомневаться в том, что они не смогли бы выдавить из себя ни слова. По той лишь причине, что рот высох, а все слюни по предназначению стекли вниз живота.

Живя в наше время, Аполлиария Семидолловна непременно воспользовалась бы советами непревзойдённого Рушеля Блаво и прикладывала бы его таинственный талисман ближе к ночи к животу и пятой точке для избавления от лишнего жира, чем несказанно огорчила бы целую армию своих воздыхателей.

Иногда в её чертогах появлялись избранные, то есть те счастливицы, на которых пал царственный взгляд и которым всемирно дозволено было предстать в двухкомнатном палаццо с кухней в пять квадратов, в котором обитала их богиня, с букетом роз в левой руке и тортом в правой. Лесная фея почему-то любила только розы красного цвета и только киевский торт.

Всматриваясь в себя в зеркало, она давно пришла к выводу о том, что красный цвет прекрасно оттеняет её надутые, но блеклые щёки и зажигает в водянистых глазах маковый огонь, как у сказочного василиска. С киевским тортом было немного сложнее. Он просто был чертовски вкусным. Кроме того, Аполлинария Семидолловна любила всё пёстрое, наборное, как в любимой ею с детства калейдоскопической мозаике под названием «Звезда Семирамиды».

Киевский торт она также ценила за поразительную многогранность, состоящую из сливок, воздушного беже, пластилинового крема, цукатов, ядрышек ореха и раздавленного изюма.

Иногда, к ужасу покупателей, местное хлебопекарное предприятие подсыпало в торт, а заодно и в некоторые виды пирожных немного песка и гранулы кремнёвого происхождения, о которые крошились не только эмаль и крепчайшие железные коронки, но и целые зубные протезы жителей городских пятиэтажек и придорожных барачков. Не со злым умыслом, конечно, а так, по недоразумению, забыв просеять подготовленную под выпечку пшеничную муку «высшего» сорта и проверить продукцию соседнего молокозавода, с которым подписано соглашение о соревновании за право получить переходящий вымпел передовика социалистического соревнования.

Возвращаясь к главному, заметим, что длительное время шестипудовая чаровница была уверена в том, что из-под её пухлой длани не выскользнет ни один ушлый мужичонка из числа любителей дармовой «клубнички». И была немало удивлена тем обстоятельством, что певцы серенад и стихоплёты, воспевавшие её несравненные прелести, вдруг как-то подозрительно быстро стали растворяться в пространстве и во времени, когда она, как бывалый артиллерист-заряжающий, всё подтаскивала и расставляла на столе изысканные деликатесы, которые в большинстве своём позаимствовала через боковой ход ближайшего гастронома.

Аполлинария Семидолловна была щедрой женщиной. Благодаря её усилиям скатерное раздолье обычно сплошь покрывалось тарелками с холодцом, заливными из судака и говяжьего языка, нарезкой редчайшей сухой московской колбасы, горками квашеной капусты и бочковых солёных груздей.

Однако, когда в комнату при свечах вносилась королева любого застолья, прозрачная до хрустального пузыря заветная «Московская особая» с неизменным приложением селёдочки, наполненной пролитыми растительным маслом кусочками «заломы», никакого воздыхателя и ценителя женской красоты за столом уже не было.

Претенденты на руку и сердце исчезали самым таинственным образом – ровно так же, как и ассистенты знаменитого фокусника и иллюзиониста периода расцвета социалистического реализма Эмиля Теодоровича Гиршфельда-Ренарда, которые под рукоплескания публики входили в волшебный ящик на арене только затем, чтобы в духе самой продвинутой телепортации в мгновение ока перенестись под самый купол цирка шапито.

Мистика властвовала в алькове перезрелой жрицы любви.

Аполлинария Семидолловна окончательно уверовала в проделки потусторонних сил и принялась усердно штудировать книги по кабалистике, нумерологии и картам Таро. Лукавые призраки прятались по тёмным углам и по ночам удушливой волной наваливались на грудь, перемешивая сознание и разрушая планы по обустройству личной жизни.

Если бы она только знала. Разгадка пришла слишком поздно, когда годы уже начали серебрить пряди волос почтенной дамы. Виновником всех её неудач на амурном поприще оказался её любимец, с которым она по обыкновению коротала долгие зимние вечера, занимаясь вязанием на спицах стилем «морская пена» безразмерного джемпера и просмотром по телевизору скучных театральных постановок.

Австралийский какаду Кеша жил у Аполлинарии Семидолловны в заточении в большой клетке не менее 20 лет. Он питался орехами, сухим горохом и семечками. Иногда ему попадали леденцы, а летом свежие ягоды и кусочки сочного арбуза. Когда Кеша был недоволен, а недовольным он был почти постоянно, то прекращал разговаривать и принимался деловито

выщипывать пёрышки со своего брюшка. Ещё в годы своей молодости, когда он, трепыхаясь, угодил в сеть ловцов экзотических птиц, попугай решил, что будет мстить всему роду людскому как может и сообразуясь с реальными возможностями. Перебрав все доступные ему на положении арестанта способы, Кеша решил примерить на себя личину изобличителя, которая, как ни странно, оказалась весьма эффективной для осуществления его вероломного замысла.

Он побывал в трёх домах, и три хозяина от него отказались, переуступая другим владельцам, жаждавшим приобрести тропическое чудо за символические деньги. Оказавшись в уютном гнёздышке Аполлинару Семидолловны, Кеша решил использовать поистине дьявольскую тактику применительно к образу жизни любвеобильной начальницы из жилищной конторы.

При виде очередного воздыхателя попугай громогласно приветствовал того дружелюбным возгласом:

– Привет, добро пожаловать. Как здоровье? – чем сразу завоёвывал самое тёплое расположение со стороны гостя и заставлял гордиться собой хозяйку дома.

Затем Кеша замирал и, не обращая внимания на людей, принимался ковыряться в ореховой скорлупе и чистить огромный клюв о железные прутья своего подвесного домика. Он дожидался подходящего момента, который появлялся у него каждый раз, когда Аполлинурия убегала на кухню за очередным съестным деликатесом или затем, чтобы снять с огня сковороду с подгорающим жарким.

Тогда пернатый интриган, взбив хохолок на своей голове, принимался рассказывать оторопевшему мужчине самые пошлые гнусности из интимной жизни одинокой женщины, разукрашивая своё повествование животными криками и томными стонами, характерными для заключительной фазы полового акта.

В результате поражённый в самое сердце местечковый Ромео убегал с места событий, забывая второпях свой пиджак и галстук, а заодно и страстные вожеления. А Кеше оставалось лишь наслаждаться фактом очередной победы.

Разоблачив коварного афериста, Аполлинурия Семидолловна стгоряча чуть не засунула того на час в разогретую до двухсот градусов духовку, но, пораскинув умом, отложила исполнение жестокого намерения до лучших времён. В конце концов, попугай стоил в открытой продаже немалых денег и временами бывал прекрасным собеседником.

Действительно, не точить же, в самом деле, лясы с дворником-пропойцей Потапычем.

Вот такие необычные люди рождались, жили и умирали в Колупаевске, городе с большими историческими корнями, уходящими в былинное прошлое. В местном историческом музее несколько стендов было отведено доказательствам того, что берестяные грамоты с записями денежных долгов и признаний в любви впервые были найдены именно в Колупаевском городище, аж на два века раньше, чем в сомнительном Великом Новгороде. А эмоционально возбуждённые экскурсоводы непременно подводили жавшихся друг к другу залётных туристов из окрестных областей и республик к Рюриковой стоянке.

Неизвестно, когда и кем была состряпана эта легенда о том, что варяжский князь именно здесь на пути «из варяг в греки» разбил свой шатёр на берегу великой реки Итиль и, налюбовавшись местными просторами, простёр державную руку и изрёк:

– Здесь будет заложен мой любимый город. Отсюда буду править Русью я и внушать страх моим недругам.

В случае если благодарные слушатели, разинув рты, согласно кивали головами, уверовав в местные байки, то тогда директор краеведческого музея Аникей Кастратович снисходил до того, чтобы со слезами в голосе поведать им леденящую душу историю о трагедии далёких веков.

По его словам, известные своей подлостью древние киевляне посулами заманили доверчивого Рюрика, уболтали князя и опоили хмельным зельем его дружину, а заодно подсунили ему позорную девку Меланью, мастерицу по всякому блюду. С тех пор Киев, а не Колупаевск прозывается первостолицей Древней Руси.

Тяжкое и несмываемое оскорбление, с которым до сих пор борются лучшие умы колупаевской науки, а заодно и местное ГБДД, неизменно штрафующее все автомобили подряд с киевскими номерами.

Московские архивисты как могли пытались помочь изнемогавшим в исторических диспутах колупаевским коллегам. Но ни Ипатьевская, ни Лаврентьевская летописи, ни даже многократно изменённые и подправленные их списки ничем не смогли помочь. Ну не было в те времена и в тех местах высококультурного городища Колупаева. Даже мудрый ворон не сумел уронить в эту землю татарскую стрелу, наконечник которой колупаевские археологи смогли бы выкопать через семьсот лет и объявить всему миру о том, что первое сражение Куликовской битвы начиналось именно в этих дремучих дубравах. Молчала и красавица Итиль; не хотела выкатывать из глубоких омутов на песчаный берег золочёный шелом с копьеобразным наконечником, на котором красовался бы боевой девиз: «За стольный град Колупаевск. Не пошадим, други, живота своего».

Историческая беспросветность искренне возмущала широкую общественность города и всей области.

– Интриганы, бюрократы от науки! – негодовали горожане и селяне.

– Я восстановлю историческую истину! Найду в Москве укорот на этих книжных червей, окопавшихся в бастионах Академии наук! – гремел на заседаниях первый секретарь обкома партии Гавриил Федулович Фуражкин и потрясал в воздухе сухоньким кулачком. Члены обкома и приписанные к нему директора крупных производств дружно хлопали в ладоши и обменивались весёлыми взглядами – мол, доберёмся до этих москвичей и киевлян. Всё посвоему кроить хотят. Вырывают почву из-под ног колупаевского патриотизма. Не позволим.

Вскоре возможность для восстановления справедливости уважаемому Гавриилу Федуловичу представилась. Его вызвали в Москву на совещание секретарей обкомов и крайкомов. Помощники и заместители основательно потрудились, чтобы снарядить своего боярина в поездку. В его «министерском» портфеле уютно улеглась приглашенная со всех углов отчётность о великих достижениях Колупаевской области в деле развития народного хозяйства. Если эту победную репликацию прочёл бы губернатор отдельно взятого американского штата Техас, то его лицо вначале позеленело бы, а потом пожелтело от приступа панкреатита. Таких показателей в приросте надоев молока и производстве нефтепродуктов власти «Одинокой звезды» даже представить себе не могли.

Но из Москвы вождь колупаевцев вернулся тихо и незаметно. На тревожные расспросы соратников всё больше отмалчивался и только по прошествии недели признался: – «мол, в Москве указали мне больше свиней разводить, картошку сажать и бетонный завод строить. И ещё намекнули, чтобы глупости исторические для пенсии себе оставил, а то ведь, неровён час, и выговор с занесением запросто схлопотать можно. За нерадивость и профанацию установок ЦК и правительства. И впредь чтобы не гундел по разным углам о Рюрике и Мамаевом побоище, а дружил с историческим материализмом и наперёд запомнил, что в дедовские времена мимо города Колупаевска, которого тогда и в помине не было, ни Итиль, ни Волга и никакая другая река не протекала. А величавая русская красавица несла свои воды по совсем другому руслу, аккурат в пятидесяти километрах от нынешнего, современного, если смотреть строго на запад».

Выходит, не проплывали в этих местах Игорь Святославович и его славный предок, Рюрик. Не стояли на носу своих стругов под княжеской хоругвью и не всматривались в заходящее солнце – туда, где за дальними холмами копились половецкие силы. Не шла по потемнев-

шему жнивью их конница на раскормленных конях, и не сверкали выставленные на изготовку наточенные копья, нацеливаясь в грудь могучего противника.

Пришлось колупаевцам смириться и принять официальную версию о том, что на склоне царствования Ивана Васильевича, по иноземному прозвищу «Грозный», размещалась на этих лугах и болотах захудалая стрелецкая слобода. Служили ратники, границы Великого княжества Московского оберегали, засеки возводили, свои дворы обустроивали и семьи создавали. Закавыка вышла лишь в конце XVII века. Федьку Шакловитого послушались, за царевну Софью грудью встали, чтобы веру старую, привычную и обычаи дедовские защитить. Не вышло. Запутались начальники. Охмурили их разговорами и обещаниями люди пришлые из далёкой Немеччины. Пришлось головы бородатые под топоры петровские подкладывать.

С тех пор запустел сей край; мхом и луговой травой зарос, то есть никого не стало: ни зверья, ни людей, а только мошка болотная и лягуши на кочках остались, и потому получил он совсем пропавшее название – Чёрная грязь, а точнее Гадюкина болота. Но время лечит любые раны. Подросли берёзки, мхи ушли под заросли ореха, выбросили листья первые дубки и клёны. Вернулась жизнь. Развелось много зайцев, а за ними пришли лисы и волки, затем кабаны и лоси. За обилие дичи и птицы обернулась бывшая пустошь новым именем – Заячий брод.

Присмотрелся человек к этому месту, стал строить дома и мельницу ставить, сеял поля, рожь жал, дёготь из бересты вытапливал, мыло варил, пока не настал век девятнадцатый. Оборотистые купцы пристань на местной неказистой речке поставили, бурлаков в баржи запрягли и толкачи-буксиры чуть погода завели. Пришло время каменные дома ставить и парки со статуями и фонтанами размечать, чтобы имя новое, достойное украсить – Полубоярово-Бараново, для удобства просто Бараново.

Вошла жизнь в новую колею, железной дорогой и паровозным гудком с Москвой связала, если бы не год 14-й, а за ним и 17-й не подкатил. Приехал на том паровозе комиссар в очках и кепочке кожаной, а с ним красные флаги во множестве и бескозырки матросские. Минуту думал о своём комиссар с красным бантом на груди, затем прокашлялся и заключил:

– Нехорошо как-то получается: город передовой, промышленный, а название буржуйское. Другое надо бы измыслить.

А что придумаешь, коль кругом разруха и стрельба по ночам? Днём правда красная, а после заката – белая. Случай помог. Загнал красный отряд эскадрон мамонтовский в глубокий овраг и запечатал с двух сторон. У братьев кровных жизнь отбирать стал. Чистая победа, да не совсем. Недосчитались бойцы своего взводного. То ли где в буераке сгинул, порубленный казацкой шашкой, то ли в тыл утёк, чтобы прибиться под тёплый бок одинокой солдатки: «Будя. Навоевались. Пушай теперь другие вшей окопных покормят».

Кто знает? Но имя своё звучное людям на память он оставил: – Колупай Похмелкин.

Такую фамилию ни на знамени, ни на плакате как бы не вывесишь:

– Что же это, товарищи, получается? Выходит, власть свою мы в угаре хмельном завоевали, что ли? Непорядок. Засмеют люди. И благозвучия революционного в ней маловато. А вот имя – Колупай – вроде как подходящее. Обиды в нём немного, вроде как усмешка, с детства всем знакомая. Не раз каждый из нас слышал напутствие доброе: «Ну что ты там, недоумок, мать твою, колупаешься, как курица в дерьме».

И стало бывшее Полубоярово-Бараново прозываться гордым, идеологически выверенным именем – город Колупаевск, на все оставшиеся времена и на зависть соседям. А колупаевцы – ребята ушлые, себе на уме: семь раз прикинут – восемь отрежут. Покрутили головами вправо и влево и дорожку нескорую, но верную разглядели. Оброс городок бараками рабочими, чтобы заново строить и пятилетки за три года намахивать.

Покрасили ворота заводские с аллой звездой по центру и покатали из них: раз распахнутся – трактор новёхонький с прицепом, другой – шины на самосвал карьерный. А там и время

приспело бараки ломать и в пятиэтажки переезжать, берега речные в мрамор и гранит северный наряжать, театры открывать и фонари по площадям развешивать. Сняли солдатские гимнастёрки, сапоги кирзовые на дачи отвезли и на шаг гражданский, вразвалочку, перешли, чтобы по набережным своим без всякой цели бродить туда-сюда, девушек поджидать, конфеты и «Красную Москву» им дарить.

И вроде как двинулись ни шатко ни валко, но вперёд, туда, где засветился лучик надежды и принялся шекотать увалистые тучи, что нависали над городом тысячу лет. Глядишь, и дошли бы до светлого горизонта годков этак через сто, так нет же – очередная напасть с ними приключилась.

Учинил как-то мудрый Гавриил Федулович под ноябрьский праздник совещание партийных активистов и передовиков производств устроить. Решил звучной фразой оттенить указание Центра о том, что «перестройку требуется углубить и расширить». На трибуну залез, локти для опоры расставил и водички витаминной из стаканчика отхлебнул, то есть придал себе надлежащий вид трибуна-вожака. Ему бы ещё кепарик матерчатый в кулаке зажать и руку вперёд выпростать, как положено, ан нет, промашка вышла. Не подвезли ко времени нерасторопные помощники броневичок, что перед музеем революции семьдесят лет без дела простаивал. Заржавел, должно быть, оттого и не завёлся.

Читает по бумажке первый секретарь свой доклад, клеймит нетопырей капитализма, смеётся над их ужимками перед мощью лагеря социализма. Радостно у него на душе. Энтузиазмом горят глаза колупаевцев.

– Погодите, узнаете вы, нехристи, ещё колупаевцев. Сами сдаваться приползёте, а мы поглядим, подумаем: кого брать, кого простить, а кого на распыл пустить.

Гремят в докладе литавры, звенят фанфары, зовущие в голосистое будущее. Смотрите и удивляйтесь. Куда ни глянь, везде сплошь ударники и первопроходцы, всё выполняют и перевыполняют, казну государеву умножают. И себя не забывают – орденами и медалями лацканы украшают и буквы бронзовые в доски настенные впечатывают. Оглянись, прохожий, поклонись и подумай – а кто ты сам есть в сравнении?

Может быть, и дальше продолжал бы секретарь обкома клепать звенья неопровержимых аргументов и нанизывать на них для большей крепости чеканные постулаты, почерпнутые его спичрайтером из фолиантов теории научного коммунизма, но не выдержал златоуст. На самой высокой и пафосной ноте споткнулся на пустяковой фразе – вернее, на куске из неё – «догоним и перегоним». Кого? Тут загадки нет. Конечно, тех, кто из века в век на Западе загнивает. А кого же ещё, дорогие мои?

Но вот казус диковинный приключился. Фраза у него в горле на самом неудобном месте, как раз посередине застряла. Оттого ни понять её, ни домыслить никак было нельзя. Он её туда – она обратно. Со словом «догоним» как-то с трудом, но стало получаться, а вот с другим – «перегоним» – никак. Завязает в зубах, треклятое.

Несколько минут несчастный оратор прогонял через себя несложный набор слов. Не идёт, зараза её возьми. Ничего с ней, подлой, не сделаешь. И водой её заливал, и докладными листами шевелил – ничего не вышло. Стоит, как каменная, не движется и подрывает годами наработанный авторитет.

Надувая щёки и шею, именитый докладчик всё же умудрился протолкнуть через решётку зубов концовку подлой фразы, чем несказанно порадовал первые ряды застывших в напряжении слушателей, сумевших-таки разобрать слово – «гоним».

Правда, куда, а главное, кого и зачем надо было «гнать», никто толком не понял. Поэтому наиболее усердные и ответственные тут же вытащили из пиджачных карманов аккуратные разлинованные блокнотики и начали чернильными карандашами делать в них замысловатые пометки. На всякий случай. Может, завтра им разъяснят, какая такая великая мудрость озарила в данную минуту их несменяемого лидера?

А тем временем бывалый обкомовский начальник всё ещё шипел на трибуне, как сдувающаяся автомобильная шина, но ничего толкового с упрямым префиксом «пере» поделать не мог. Как горошина в испорченном свистке прыгает. Воспалившиеся голосовые связки корёжит, но преобразовываться в членораздельные звуки никак не желает.

Растерянность затуманила мозги, и паника сжала заиндевевшее сердце. «А что в Москве скажут – ведь завтра же донесут? Первый зам первым и донесёт. Как пить дать, настучит, ханыга» – вот в чём заключался главный и самый тревожный вопрос.

И что из того будет, никто не знает. К генеральному побегут, а тот отмахнётся: «Сами разбирайтесь», прикрывать не будет. Он перестройкой, видишь ли, руководит, так сказать, небывалым историческим процессом. Не до того ему. А вот ежели кумир всех абстинентов Егор обо всём прознает – тогда держись. С котомкой в какой-нибудь Анадырь пешком пойдёшь партийные кадры укреплять, а то и с партбилетом распрощаешься.

Браз припомнят, что область антиалкогольную кампанию профукала. Вроде всё как надо сделали: винно-водочные заводы ликвидировали, товарные базы выпотрошили. Пусто стало, как в пивной бочке. Ан нет: народ у нас смекалистый, ничем не проймёшь, в момент на самогон перешёл. Из каждой форточки сивухой тянет. Милиционера, «што ли, к каждому окну ставить», так сами законники сбоку и кормятся.

Не так худо то, что народец в очередях давится, по головам лезет, эмоциями обменивается. Побузит, накричится и быстрее по домам расплзётся, мозолистыми ладонями хрупкое стекло в авоськах от завистливых взоров закрывая. «Беленькая» чем хороша – после двух стаканов плечи книзу клонит, а вот ежели своего недопёшь, тогда держись: в голову непременно кинется, и начнут эти бузотёры за облака заглядывать, вопросы неприятные спрашивать – вот это худо так худо.

Всем был хорош Гавриил Федулович. Опыт руководящей работы такой, что обзавидуешься. За версту всё видел, нос по ветру сызмальства держал. В Москве ещё думают, а он уже предложения шлёт, с правильной инициативой выступает – так сказать, в духе требований текущего политического момента.

О людишках говорить не приходится. Лушил и раскалывал их как орехи. Которых покрупнее – сразу в мусорное ведро выбрасывал: эти под ногами всегда мешаться будут. Им ведь всегда что-то надо, когда и так хорошо. Других, что калибром помельче, тех в отстой. Присмотреться требуется. Пусть вначале дурь из башки выбросят, если у кого есть. А там посмотрим – может, кого и возьмём в поход к желанному будущему. А вот лузга, что на дне отлежалась, мелкота всякая, та в самый раз. Опора и надежда областного трона.

С ними удобно: ни слова, ни поправка не услышишь. По команде встают, по команде ложатся. С такими молодцами легко дышится. Из них кадры растить будем. Правда, если руку на сердце положить, то толку от таких никакого. С такими на высокую гору не взойдёшь. А надо ли? Уже и так всё, что можно, покорили. Пора бы и отдохнуть. В тенёчке полежать, да так, чтобы мухи не кусали. С такими, на всё согласными, проще простого – за калач удавятся, друг друга без хрена съедят. Ну и ладно. Даже занятно на их «тёрки» поглядеть. Одно плохо. Калачей на всех не хватит. Их же тьма-тьмущая, этих едоков.

Ни дать, ни взять, но голос у достойного секретаря Фуражкина был отменный. Необычайный, баритональный, в самое нутро проникал. За печёнку щипал. Не голос, а орган. Доклад читал, как арию из оперы «Князь Игорь» Бородина исполнял.

А тут возьми и оконфузился. Лицо потерял, как в своё время любил поговаривать, ухмыляясь, старик Конфуций.

Домой в персональной «Волге» Гавриил Федулович возвращался в крайне смущённом настроении. Тяжкая дума кишки выворачивала. Как быть и что делать с этим неподдающимся и заковыристым словом – «перегнать»? Посоветоваться бы с кем-нибудь? А с кем? Со своими

аппаратчиками из обкома – только время терять. Ответят по-дежурному, под вышестоящее мнение подстроится. С Москвой поговорить – за дурака сочтут. Скажут, из ума выжил, выработался, установок не догоняет. Никак, возраст своё берёт – не заменить ли? На покой пора, на пенсию пригожую. Не обидим свояка. Тут по-другому надобно. «И вернее всего будет, если с молодой порослью, с нашей сменой потолковать. Комсомольские силы поднять и повести их боевые отряды на штурм этого проклятущего «перегнать». Как в их песне поётся: «Нас водила молодость в сабельный поход».

Ушлым, умудрённым жизненным опытом мужиком был Гавриил Федулович Фуражкин – яркий образчик обкомовского секретаря выкройки 1991 года. Купцом, вальяжным вельможей жил на родной колупаевской земле. Строил, что говорили, на-гора выдавал рекорд за рекордом и себя не забывал – капитал наживал, правда, не финансовый – что делать, коль идеология запрещает, – а партийный и административно-бюрократический. Самый что ни на есть кондовый.

По-мичурински взращивал кадры в безусловной преданности себе лично и рассовывал по всем хлебным и сладким местам, чтобы власть его безбрежную блюли, смутьянов на карандаш брали и на стройки коммунизма за пределы области высылали. Неча им тихую заводь баламутить, законопослушных граждан идеями смущать. Чтоб воробей не пролетел и мышь без его ведома не проскочила. Вот так-то. Как испокон веков, от дедов наших повелось.

А с Москвой он как-никак управится. Спасибо, предшественники научили. Клятву даст, если надо, обязательства повыше возьмёт, а если без худа не обойтись, то и голову свою с надлежащим покаянием на плаху положит. Да так ловко, чтобы все верховники глаза его верно-подданнические видели. Сколько в них скорби и раскаяния. А сколько готовности вину признать и все силы на дело правое положить. Ну ведь свой же он, до корешков волос свой. Разве можно такого казнить? Никогда. Помиловать и на выдвижение выправить.

Что из того, что установку «перегнать» не осилил, так никто этого сделать не сумел. Построить коммунизм к восьмидесятым тоже ведь замахнулись, на весь мир раструбили, но пролетели, как некая фанера над городом Парижем.

Ничего, молча проглотили. И так ясно – это кукуруза треклятая из штата Небраска во всём виновата. А кто ещё? Таковых нет. Не получилось уломать её на урожайность в тех местах, где ягель растёт. Промашка вышла – не разглядели каверзу заокеанскую.

Что ещё? За доклад, что из собрания в собрание по бумажке читаю, не упрекнут. Слова-то правильные, полновесные, будто на заводе «Серп и молот» выкованные. Не подкопаешься. А что до формы и доходчивости, то где сейчас пламенных трибунов возьмёшь, чтоб фуражку в кулаке комкали и слова праведные, зовущие из глотки выхаркивали? Нет таких более, вывелись.

Были времена, на выдохе массы в штыковую поднимали, Днепрогэс ставили – плиты бетонные голыми руками равняли, лаптями глину замешивали. Ярко горел в нечёсанных головах огонь новой веры: кто был ничем, тот станет всем.

Незаметно, через продуктовые и вещевые дефициты подбиралась другая, новая жизнь – робко, шаг за шагом, но утвердились иные правила. Разве не зря из столицы задуло сквозняком грядущих перемен?

«Комсомол надо на прорыв поднимать, чтобы конструкции кооперативные создавал. Не проморгать бы момент – ретроградом прослывёшь», – решил про себя мудрый Гавриил Федулович и с удовольствием вспомнил недавнее, как не подвела его многолетняя закалка. Речь-то свою нескладную беспроегрышным призывом закончил и трибуну покинул не увальнем кособоким, а птицей-соколом полетел, чтобы занять престольное место в президиуме. Как грохотал овациями зал, наблюдая восшествие вождя-надёжи!

«Это хорошо, хорошо. Народ следует за нами», – это была самая любимая и финальная часть любого совещания и бесчисленных заседаний, которые проводил колупаевский партийный секретарь.

Переступив порог своего родного дома, то есть по высшим меркам того времени – пятикомнатной квартиры, секретарь Фуражкин сразу почувствовал себя лучше. Ноги с облегчением освободились от модельных полуботинок и утонули в большом персидском ковре. Вышедшая навстречу напомаженная супруга, половина всей его жизни, дежурно подставила под сухой поцелуй полную щёку. Детей дома не было – должно быть, в своём университете в КВН развлекаются.

Заказав прислуге чашечку кофе с коньяком, Гавриил Федулович походкой пушкинского командора проследовал в свой кабинет, чтобы, отгородившись от мирской суеты, привести расшалившиеся нервы в порядок и заодно всмотреться в своё волшебное зеркало.

А зеркало было действительно удивительным. В тяжёлой витой раме из потемневшего металла, докочевавшее до наших дней из далёкого девятнадцатого, а то и восемнадцатого века, пройдя венценосные императорские времена и пережив лихолетье гражданской бури. Из орущей, неуправляемой толпы ниспровергателей старого режима не нашлось ни одного матроса-анархиста или солдата-окопника в сопревших обмотках, чтобы швырнуть в него куском карельского мрамора от разбитого ломберного столика. Даже в период короткой немецкой оккупации в сорок первом сколько ни тщился полувзвод немецких пехотинцев, подбадриваемый понукающими окриками своего фельдфебеля, сдёрнуть зеркало со стены и увезти в обозе в далёкую Баварию, ничего у них из этой затеи не вышло.

Стеклозное чудо будто вросло в стенной проём и ни за что не соглашалось покидать родную нишу.

Шли годы. Фацетные грани зеркала всё хуже переламывали в себе блики потолочного света. На заднем фасаде разлагалась и мутнела серебряная амальгама, но кремневая молекулярная решётка цепко хранила в своей кристаллической памяти образы гусарских ментиков и галунов и батистовые волановые платья вечерних чаровниц.

Появлялись и исчезали золотые генеральские эполеты, подсвечивавшие пушистые бакенбарды и раздвоенные холёные бороды. На смену им неслись флотские бескозырки со шёлкающими ленточками и искажённые призывами комиссарские рты с прокуренными зубами. Вспыхнули и погасли чужие мышинные мундиры, увешанные железными крестами. И наконец наступила долгожданная эпоха социального благолепия.

Разминая до хруста затёкшую спину, Гавриил Федулович налил в хрустальный лафитник многозвёздочный армянский коньяк и вместе с ним подошёл к «говорящему» зеркалу. Возникший перед ним образ понравился ему сразу. Осанистая фигура; повсюду и во всё проникающий взгляд из-под полуприкрытых век; ладно скроенный костюмный пиджак, ловко прикрывающий разросшийся до среднего размера тыквы живот, который, к большой досаде, неумолимо раздвигал пуговицы белой шёлковой рубашки. И блестящий в росинках пота лоб – широкий, охватывающий почти всю черепную коробку и плавно переходящий в затылочную проплешину. Лоб мыслителя и провидца.

– Ну чем не лидер, чем не вожак, которого народная вольница вознесла на свои плечи, чтобы управлять и открывать новые пути? – Обкомовский секретарь с чувством и расстановкой выпил содержимое высокой рюмки. Созданная инерцией природного процесса и усилениями кавказских виноделов чудодейственная жидкость медленно стекла по пищеводу в желудок и обжигающими искрами разбежалась по венам и её протокам, разогревая застоявшуюся кровь.

Сознание озарилось яркой вспышкой, отчего Гавриилу Федуловичу почудилось, как в зеркале под его правой рукой вспыхнули огни мартенев и двинулись вагоны с углём и сталью.

Рёв двигателей космических ракет разрывал земное притяжение. Левая же рука вознеслась над радостными колоннами демонстрантов, которые вздымали над головами транспаранты со здравицами в честь обожаемого лидера и большие портреты с его лицом с внимательными и проникновенными глазами. И откуда-то с небес, а может быть, с клироса ближайшей церкви донеслось стоголосое: «Славься...»

– Хорош, ой как хорош, – вполголоса похвалил себя секретарь Фуражкин. – Мне всего-то шестьдесят, а сколько сделано? И всё это я, я один. Моя воля, мои планы творца и преобразователя природы. И ещё могу сделать и такого сотворить, чего история ещё не знала. Нужно будет – канал до Москвы пророю; города возведу; магистрали проложу. Такую силу в руках чувствую.

Гавриил Федулович вернулся к барному шкафу, чтобы налить себе ещё коньяку. Его грудь распирали необузданные желания. Образ мыслей приобрёл дерзновенный характер.

– Нет, не ценят нашего брата. – Очередная порция алкоголя судорожными глотками влилась в организм партийного воителя. – Давай, давай. Кричат только, а чтобы так, по достоинству, по существу оценить мой порыв? Этого нет. Никогда. Ну сделаю я всё это. Горы сверну, и что? Кисло поблагодарят, орденишко нелучший в ладонь сунут и опять за своё привычное «давай».

Им человека с должности снять за пустяк, за пылинку воздушную, за оговорку никчемную, как сегодня в докладе с этим дурацким «перегнать», что высморкаться. Хлебом не корми. Милое дело. Ещё сзади ногой пнут, чтобы не застаивался. И всё. Кончилась эпоха. Наутро и имя моё забудут. Отчего всё так в нашей жизни несправедливо и жутко? Ответ один – оттого, что это всё не моё. Потому, что оно принадлежит всем, а значит, никому. Вот почему. А по какому, спрашивается, праву?

Я здоровье своё гроблю, ночами не сплю, дня белого не вижу – и ради кого, ради чего? Ради этих, которые за окном в ночи шатаются и песни хулиганские орут? Им же всё равно, кроме водки, ничего не надо. А что детишкам своим, сиротинушкам, если что со мной случится, оставлю? Только имя своё. Так поможет ли оно им по жизни? Того не ведаю. Скорее всего, разные злопыхатели, сегодняшние лизоблюды, пачкуны кабинетные измарают его по-всячески. И останутся от славного имени первопроходца и первостроителя одни лоскуты позорные. Ни почёта тебе, ни уважения. А семье, родимой, одни унижения и упрёки.

От огорчения и охватившей его внутренней сумятицы секретарь нервно налил себе ещё одну коньячную стопку и залпом выпил её.

– Вот взять хотя бы итальянцев, собратьев наших меньших по борьбе с гнётом капитала, так у них всё по-другому. – Гавриил Федулович продолжил терзать себя крамольными мыслями, находя в этом процессе особое болезненное сладострастие. – Так у них секретарь обкома Ломбардии не только на площадях речи толкает и эксплуататоров обличает, так он ещё при всём этом умудряется быть владельцем частного предприятия с сотней работяг. Оконные рамы выпускает, монеты в кубышку складывает. И дом у него под красной черепицей, и яхта бортом о причал толкается. Тепло, море, женщины полуголые – лепота. Всё своё, ухоженное. Никто слова бранного в его сторону не кинет. Выходит, и так можно жить: социализм и капитализм в одном флаконе. Европа, одним словом. Не то что мы. Холодно и голодно.

В конце концов, они коммунизм придумали и нам в пролетарской обёртке подсунули, а мы сторяча тут же, не распробовав, проглотили. Теперь кашляем. Например, у меня в квартире на всех стульях учётные бирки гвоздями приколочены. И что это значит? Ровно то, что пока должность есть – всё есть, а нет её, то и ничего нет. Вот и ломай себе голову, что делать? Хорошо хоть, наверху задумались, как разгадать сей фокус.

Вот если бы свой заводик сталелитейный занять и земельку с леском и полями гектар этак на тысячу прихватить, то не пришлось бы зыркать по сторонам и сердце своё вопросом надирать: снимут на очередном пленуме с должности обкомовского главы или ещё дадут

годик-другой полной грудью подышать? А если бы переименовать всё, как у итальянцев, глядишь, стала бы тогда сверкать фамилия стальных магнатов Фуражкиных из века в век, радуя внуков и правнуков. Как звонко защебетали бы их весёлые голоса в стенах белоснежного родового дворца! Чем я хуже купцов Рябушинских и Мамонтовых?

Династия, завистливо скажут люди, а не как сейчас – выскочка из крестьянского понизовья, которого партия вылечила, выучила и за ручку на большой верх провела. Мол, работай, не оглядывайся, народу служи. А придёт срок – уйдёшь в этот самый народ, растворись в его беспроглядной гуще. Сравняешься. Будешь, как все, ляжку тянуть. И не увижу я ничего, кроме отвернувшихся от меня равнодушных спин.

Большая, горячая слеза выкатилась из глаза Гавриила Федуловича и медленно поползла по округлой щеке вниз, пока не умудрилась зацепиться за тяжёлый мужской подбородок, чтобы надолго повиснуть на нём, отразив в своей первозданной чистоте все горестные мысли и душевные метания колупаевского секретаря.

С годами, проведёнными в борении с лозунгами и цитатами, как-то само собой позабылось, что убеждённому партийцу довелось родиться не в дворцовых покоях и не в графской опочивальне. Что происходит он не из царской династии и не из рода столбовых дворян. Не белокаменные изразцовые своды приняли его первый крик, а закопчённые стены крестьянской избы с кособокими оконцами.

Всю жизнь завивал бы он хвосты быкам и коровам, а люди до земного срока звали бы его пастушком Гаврюшкой, сыном бедняка Федулки Фуражкина.

Но взошла однажды над лесом алая заря и вывела мальчугана из беспросветной нужды, выкормила и знания дала. И, благословляя в дальнюю путь-дорогу, сказала: «Не забывай, что в этом мире есть два самых гордых и честных слова – «рабочий» и «крестьянин»».

Глава II. Не поют соловьи в терновнике

Перестройка 1985—90 годов, изобретённая сонмом кабинетных мудрецов, галопом мчалась вперёд, стуча неподкованными копытами по головам дураков.

Куда Митрофану Царскосельскому до секретаря обкома Фуражкина? Не угнаться ему за полётом его мыслей. Иного ранжира стриж. Не в чистом небе круги нарекает, а под кронами деревьев хоронится, чтобы на ужин ястребиному племени не попасть.

Спотыкаясь и скользя на спрессованном снегу скошенными каблуками не раз чиненных штиблет, Митрофан не без труда догнал вихляющий трамвайный зад и с ходу, используя приём олимпийского чемпиона по прыжкам в длину знаменитого негра Карла Льюиса, через приоткрытые двери запрыгнул на посадочную площадку.

Проездного билета у него, по обыкновению, не было, поэтому он для вида пробил закреплённым на затёртом пассажирскими ладонями поручне компостером чистый листок белой бумаги, вырванный из потрёпанного блокнота. Никто из киоскёров никогда не видел, чтобы гражданин Царскосельский покупал у них билеты. Их у него не было не только в этот пасмурный зимний вечер – их не было всегда.

Бывший студент-недоучка, он же нерадивый дворник и по совместительству ударник пятнадцатидневных вахт по уборке городских территорий под надзором милицейского конвоя, не имел вредной привычки платить за пользование услугами общественного транспорта. Никогда. В этом заключался смысл одного из его жизненных кредо.

Кое-как устроившись на сиденье из грубого пластика жёлтого цвета, Митрофан немедленно принял позу снегиря, нахохлившегося на тридцатиградусном морозе. Воротник жиденькой курточки был выставлен на максимальную высоту. Голова с подмороженными мочками ушей утонула до уровня плеч, а ноги подтянулись чуть ли не к самому низу живота. В вагоне было холодно, как в морозильной камере колупаевского мясокомбината, в которой хранились подвешенные на крюках дефицитные свиные туши.

Пассажиры спасали себя кто как мог. Одни, преимущественно женщины, беспрестанно растирали синюшные пальцы. Другие выстукивали каблуками марш восьмого астраханского драгунского полка. Были и третьи, по всем внешним признакам наименее морозоустойчивые. Те с поразительно выверенной регулярностью на манер сусликов-сурикатов выскакивали из своих прокалённых холодом сидений. Принимали вертикальную стойку и, вращая во все стороны головой, обозревали расширенными глазами сдавленное крашенным железом пространство, как бы выпрашивая ответ у коллег по несчастью: «За что нам такие муки?» или «Когда это всё кончится?».

Через десять минут выматывающей тряски Митрофан понял, что ступней ног у него, очевидно, больше нет, колени почти не разгибаются, а спина намертво примёрзла к спинке сиденья. В стекленеющей голове сам по себе сложился неутешительный вывод о том, что если ничего не предпринимать, то вскоре его можно будет везти напрямик в медицинское училище в анатомический кабинет, где профессор Знаменский как раз готовился к демонстративному показу для студентов-вечерников внутреннего строения человеческого организма в разрезе.

Поэтому дворник со справкой о неоконченном высшем образовании Царскосельский счёл за благо разогнуть сомкнувшееся в «предсмертной» судороге тело и вернуться на заднюю площадку вагона, где было так же холодно, как и во всём трамвае, но можно было стоять и даже подпрыгивать на месте в такт колёсному перестуку. Кровь живее забурлила в венах, и тепло прихлынуло к окоченевшим икрам и пальцам. До цели его маршрута оставалось ещё семь долгих остановок.

От нечего делать Митрофан решил заняться любимым развлечением всех пассажиров до четырнадцатилетнего возраста. Со страстностью Робинзона Крузо, высекавшего искры для

своего первого костра, он принялся усердно дышать на покрытое толстым инеем оконное стекло и в конце концов добился желаемого результата. Плодом его многотрудных усилий явилось образование двух слюдяных колец, которые надо было периодически отскрести ногтями от нараставшего ледка. Тогда появлялась возможность разглядеть, а что же там творится, на этих заметённых порошей улицах, через которые, беспрестанно звеня и тарахтя железными суставами, пробирался краснобокий трамвай.

А творилось там ровно следующее.

Впечатав нос в морозное стекло, Митрофану через ледяные бойницы удалось разглядеть удивительное зрелище. Под тусклым светом заиндевелых уличных фонарей, под звёздным покровом ночи, окутавшим одну шестую часть суши, шевелилось нечто огромное, бесформенное, вытянувшееся от одной трамвайной остановки до другой.

Загадочное существо то раздувало свои бока, будто заглатывало в утробу очередную жертву, то вновь истончалось, словно изрыгало за ненадобностью из желудка чужеродные остатки, которые ему не удалось перемолоть мельничными зубами и переварить в кислотной среде смрадного нутра. Зоологический феномен имел тонкий хвост и несуразно огромную голову, которая растекалась далеко за пределы тротуара.

Это была очередь за продукцией колупаевского ликёроводочного завода. Прародители этого ненасытного существа находились далеко за пределами области и пребывали в строгой уверенности в том, что запретами и лимитами можно оздоровить человечество и вернуть его к высотам духовного помысла. Однако дикое животное оказалось неуправляемым и, выскользнув из-под пера высочайшего указа, принялось крушить всё вокруг, требуя вернуть своё любимое лакомство – водку и спирт в неограниченном количестве.

Ну не хотели работяги думать о возвышенном, когда душа искала других просторов. Она нуждалась в празднике с плясками и мордобоем, с тем чтобы вытряхнуть из себя грохот кузнечного молота, лязг колёсных пар и визг пил на деревообрабатывающем комбинате. Требовала, чтобы серые лица их подруг украсились к вечеру дешёвой помадой, а на бёдрах вместо рабочей спецовки закачалось выходное кринолинное платье.

Тогда, после первых двухсот, все женщины, даже самые унылые и безрадостные, вдруг чудесным образом преобразятся и предстанут неотразимыми красавицами, которых можно тискать, целовать и ублажать. И хмурым февральским вечером неожиданно раскроются бутоны увядших цветов далёкой юности. Водка смоеет с сердца печную сажу котельных и окалину мартеновских цехов. И наконец можно будет облегчённо вздохнуть, и произнести: «Хороша жизнь», хотя бы на оставшие четыре часа. Хороша уже тем, что нет перед набрякшим взором скорого завтра и тусклого рассветного часа, когда их вновь встретит железная вертушка заводской проходной.

«Ну дела. Вот тебе и дышло, что боком вышло. Нет, наш Колупаевск это даже не город Арбатов, а ещё хуже. Пора валить отсюда. Вот только куда? На восток – далеко. На север – стрёмно и холодно. На запад – та же тень на плетень. Резона нет. Остаётся благодатный юг, где цветёт миндаль и кипарисы верхушками чиркают по ночному небосклону, – мысли в голове Митрофана сорвались со своих привычных насиженных мест и пустились в разухабистый перепляс, толкаясь и брыкаясь друг с другом. – У этих бедолаг, что за окном гужуются, совсем крышу сорвало. Ларёк уже закрылся, так они до утра стоять будут».

Трамвайная гусеница всё так же медленно тащилась вдоль бесконечной очереди, как если бы вагоновожатый вознамерился в деталях рассмотреть величественную картину разгромившей битвы за изобретение предков. Трамвай непрестанно тренькал звонком, то ли приветствуя изготовившихся бойцов, то ли предупреждая их о том, что время расстаться с отрезанными ступнями и пальцами ещё не пришло. Помощник дворника Царскосельский с трудом

отлепил вмёрзший в стекло нос, отчего на кончике осталось розовое пятно в белом ожерелье, и со скрежетом распахнул фрамугу вагонного окна.

Вместе с порывами ледяного ветра внутрь моментально ворвался смачный мат, которым обменивались между собой обозлённые долготерпцы, а также человеколюбивые предупреждения о том, что кому-то пришло время пощупать харю, сопровождаемые приглушёнными зимними одеждами звуками кулачных ударов, щедро рассыпавшихся по нахохлившимся спинам.

Народное веселье набирало обороты. Где-то в середине толпы вспыхнула буреломная песня «По долинам и по взгорьям» и как эстафетная палочка понеслась в начало колонны. Люди жаждали водки и крови и готовились «взять Приморье, белой армии оплот», то бишь винно-водочную палатку.

«Нет, мне не по пути с этими саночниками, – Митрофан с брезгливым чувством захлопнул фрамугу и вновь уселся замерзать на пластиковое сиденье. – Юг любит деньги. Там загорелые девушки с волооким прищуром в глазах и длинными оливковыми ногами. Белые столики на веранде яхт-клуба, много вина и „плювандо“ на московские запреты, и самое основное – вольный ветер, долетающий от берегов загадочной Турции. Там – приоткрытая дверь в большой мир свободных людей, которые поголовно ходят в цветных гавайских рубашках, голыми загорают на солнечных пляжах и пьют знаменитый коктейль пинаколада, но они тоже все любят деньги. Что характерно. У меня денег нет, значит, их надо взять где-то и как-то».

Митрофан поплотней запахнул на груди свою рыбью куртку. Он ехал на встречу со своим давним партнёром по рыночному бизнесу – Касьяном Голомудько, популярным в кругах приобщённых, под гордой кличкой Шершавый.

На нужной остановке начинающий дворник и он же начинающий коммерсант спрыгнул прямо в большой снежный сугроб, к которому его услужливо подвёз водитель трамвая, и, поминая всех известных ему чертей, принялся выбирать на аляскинскую тропу, ведущую к подъезду дома, в котором жил его друг.

Замечательные, с наметившейся дыркой штиблеты Митрофана, более подходящие для середины июля, а также несменяемые жёлто-зелёные носки моментально промокли и тут же на двадцатиградусном морозе смёрзлись в неразрывный комок. Однако мерзкого и пробирающего до костей холода Митрофан не почувствовал, так как пальцы своих ног он перестал ощущать ещё во время полезной во всех отношениях поездки в городском трамвае.

Вскоре он стоял перед кривым во всех углах входным проёмом подъезда номер шесть, в котором жил его подельник по нелегальному бизнесу. Входная дверь была сорвана с верхней петли, но продолжала выполнять свою функцию, удерживаемая большим, вколоченным в дверной косяк тридцатисантиметровым гвоздём с накинутой на него не разжимаемой пружиной. По обычаям провинциального городского центра потолочная лампочка была кем-то вывернута и унесена в неизвестном направлении – очевидно, для того, чтобы занять место разбитой подруги в соседнем подъезде.

Почувствовав себя на дне марсианской впадины, Митрофан широко раскинул руки, раздвинул отмороженные ноги и двинулся вперёд в поисках надёжной опоры. Ему повезло. Ударившись головой в темноте пару раз о низкие бетонные перекрытия и один раз коленом о выщербленную стену, он наконец нащупал вертикальный ригель железных перил и с облегчением поставил штиблет на первую ступеньку.

Как водится, накладных поручней на перилах не было. Предположительно, они были сорваны предусмотрительными жильцами ещё во время Гражданской войны и пущены на растопку печей-буржук. С тех пор ни одна жилищно-управляющая контора не додумалась облагородить лестничные марши и произвести частичный капитальный ремонт. Ведь это задача не для среднего ума.

Забывчивость жилищников была вполне понятна. Они должны были решить задачу со многими неизвестными. А именно: как под формальным перекрашиванием серо-синих стен

в сине-серый скрыть организованную ими же утечку неизвестно куда отпущенных государством средств на ремонт лестниц, перекладку изношенной до токопроводной жилы электрической проводки, изломанных трубопроводной и канализационной сетей, восстановление окон и многое что другое. Над решением сложнейшей проблемы днями и ночами бились лучшие умы городского коммунального хозяйства, не щадя свои пламенные сердца и драгоценные нервы.

Результатом их бурной деятельности явилась феноменальная забывчивость, в результате которой дом с исторической колоннадой за номером шесть на тридцать шесть напрочь выпал из плана жилищного благоустройства района, но закрепился в отведённых для этой цели во всевозможных бюджетных строках. Результатом столетней запущенности дом по праву обрёл городскую славу по уровню запредельной духовитости из-за неискоренимых и поразительных по остроте миазмов, наполнявших шедевр архитектуры от подвала и до самой крыши.

Каждый раз, навещая своего друга Касьяна, рыночный спекулянт и стяжатель Митрофан вновь и вновь укреплялся в уверенности в том, что в этом строении обитало не меньше тысячи котов и кошек и десяти тысяч мышей и крыс.

Сколько денег было списано на ремонт сего дома, сказать было непросто, но удивительное строение сумело выдержать всё. Построенное на исходе девятнадцатого века купцом Нехорошевым в качестве вначале родового гнезда, а потом доходного дома, оно гостеприимно приняло в свои объятия первых постояльцев, даря им тепло и уют, радуя красотой барельефов и узорных колоннад. Грохот Гражданской вытряхнул из его стен всех недостойных социальной опеки мещан, докторов, путевых инженеров и недоучившихся студентов.

Комиссары в кожаных штанах и куртках моментально изменили облик и назначение дома, пробив в нём межквартирные монолитные стены, чтобы создать рабочие помещения для новых конторских служащих. Натащили дубовых столов с зелёным сукном и наводнили коридоры толпами молодых симпатичных секретарш с красными платками на голове, которые тут же принялись стрекотать на печатных машинках «Ундервуд» и рассылать по городу и области не терпящие отлагательств указы, декреты и распоряжения.

Вскоре пришли другие времена, и дом с испугом и беспомощностью стал вглядываться слуховыми оконцами и чердачными люками в высокое небо, в котором закружили стальные птицы с чёрными крестами на крыльях. Земля охнула от бомбовых ударов, и дом стал осыпаться фасадной штукатуркой, но старая кладка держалась прочно и выдержала.

Здесь бы облегчённо вздохнуть и подумать о том, что цементно-бревенчатый ветеран заслужил от людей некоторую благодарность и они подправят его углы и выровняют кривые ступени. Так думал старый дом, но так не думали его начальники, которые успешно пересидели в его подвалах военное лихолетье.

Пораскинув шустрыми мозгами, они пришли к сногшибательному выводу о том, что если с ремонта каждой ступени удержать хотя бы пятьдесят процентов отпущенных средств, а ведро потолочной краски развести пожиже, то по итогам получится весьма съедобная сумма, которая замечательным образом могла бы воплотиться в соболье манто для жены, брильянты для любовницы и трёхэтажную избушку-побирушку для себя, друзей и домочадцев.

В силу дремучей политической безграмотности Митрофан Царскосельский не только не мог дотянуться до вершин высоких замыслов партийного начальника его родной области Фуражкина Гавриила Федуловича, но ему оказались не по плечу даже витийства жэковского руководства.

Ему лишь удалось сделать весьма справедливый вывод о том, что Бельбель Ушатович, жэковский глава его квартала, и высокочтимая Аполлинария Семидолловна, страх божий для всей дворницкой братии, очевидно состоят в прямом родстве со всякими замами, секретарями и распорядителями, денно и нощно опекавшими дом шесть на тридцать шесть по Трёхкозьему

переулку. Настолько они все были друг на друга похожи, будто вылупились из одного яйца заботливой мамы-гадюки.

В ситуации, в которой он по своей воле оказался, Митрофан сделал единственно правильный шаг. Укрепив свой штаблет на обколоте по всем краям мраморной ступени и цепляясь за кованые лестничные балясины, он сноровисто затащил своё худощавое и перемороженное, как у судака, тело на площадку маршем повыше, где, на его удачу, сиротливо подмигивала неверным светом чудом сохранившаяся лампочка. Жить стало веселее и значительно бодрее.

Вскоре он стоял перед знакомой дверью с вырванным номерным знаком, задрапированной тёмно-коричневым потрескавшимся дерматином, обитым по периметру и в центре почерневшими от времени декоративными гвоздями со шляпками. Ветхий материал местами потрескался и лопнул, и через прорехи безобразными клочками высывался утеплитель неизвестного происхождения.

Прежде чем нажать кнопку звонка, Митрофан приложил ухо к дерматину и прислушался. Так он делал каждый раз, когда навещал «мастера на все руки» Касьяна Голомудько. Его крайне занимало, что за удивительные существа поселились в грязной вате и беспрестанно шуршали в ней, устраивая и перестраивая свои зимние квартиры.

Однажды он даже осмелился засунуть под подкладку ладонь, за что был кем-то незамедлительно укушен за большой палец. После удачного эксперимента Митрофан ещё долго и с изумлением рассматривал прокол на коже, из которого выступила капелька алой крови, и гадал, что за тварь сделала это: или проклятые мыши, или он сам виноват, напоровшись на острый кончик кривого гвоздя? Ответа на столь сложный вопрос он не нашёл, но для себя решил, что куда ни попадая свои руки совать больше не будет.

В этот раз бывший студент-прогульщик Царскосельский без промедления несколько раз нажал на продавленную кнопку круглого звонка, под которым красовалась несвежая табличка с чернильной надписью: «Художник-концептуалист Касьян Х. Голомудько». Что означает буква «Х», никто из соседей мастера-новатора не знал. Сам же хозяин загадочного отчества на расспросы только таинственно ухмылялся и прикрывал веками глаза, утопавшие в плотных синюшных мешках.

Ничего об этом не мог сказать и его ближайший напарник и завсегдатай рыночных развалов, который лишь однажды осмелился предположить два возможных варианта расшифровки непостижимого для среднего человека «Х». Или оно было началом редкого на Руси и удивительного по благозвучию отчества Херомантьевич, или рукодельник Голомудько всем любопытствующим таким образом сигнализировал, что меньше чем за пол-литра «Особой» он не расколется.

Понимая, что на его звонки может никто не откликнуться, Митрофан повернулся спиной к двери и начал каблуком вымещать злость на укусивших его в своё время мышах.

– Это что там за козлина чечётку на нашей двери выбивает? – из глубины квартиры глухо прозвучал чей-то осипший голос.

Дверь распахнулась, и перед Митрофаном Царскосельским предстал хмурый мужик с помятым лицом и недельной щетиной, одетый крайне примечательно. Грудь и руки надомника прикрывала изрядно поношенная пижамная куртка, сплошь усеянная высохшими пятнами растительного происхождения, из-под которой сиротливо выглядывали синие семейные трусы и голые волосатые ноги, засунутые в обрезанные наполовину валенки из овечьей шерсти.

Это был заслуженный ветеран труда Кукиш Потап Конакоевич, самый известный житель подъезда №6 дома 6/36, разместившегося в переулке, названном в честь трёх коз. Заслуги ветерана Кукиша перед страной были столь велики, что их перечисление не уместилось бы даже в многостраничной трудовой книжке, в которой он среди прочих трудовых вех был обозначен как участник подъёма целины в казахских степях, ударник ночных вахт на строительстве Бай-

кало-Амурской магистрали и даже как передовик-прокладчик магистрального нефтепровода «Дружба».

Правда, справками с мест его работы подтверждались лишь последние два года перед выходом на пенсию, когда Потап Конакоевич числился кладовщиком на мебельной фабрике №3 города Колупаевска. Остальные трудовые подвиги явились плодом болезненной фантазии его друга и напарника по игре в преферанс и параллельно сотрудника отдела кадров того же комбината, Семёна Кондратьевича Непейпиво.

Без лишней волокиты ответственный кадровый работник состряпал своему карточному партнёру премиальную трудовую книжку, закрыв десятилетия безделья и тунеядства, которым так охотно предавался передовик труда Кукиш в период своего отрочества, шаловливой юности и всего зрелого возраста.

Угрызения совести недолго мучили кадровика Непейпиво. В конце концов, он хоть чем-то помог своему товарищу и собутыльнику, с которым проводил лучшие минуты своей жизни, состоявшие из пьяных загулов и умения достигать вершин всяческого непотребства. Кроме того, как ни крути, карточный долг платежом красен. А три сотни «красненьких» в советское время, списанные с его марьяжного счёта, – деньги весьма немалые.

Открыв дверь и увидев перед собой выдающегося работника метлы и совка Митрофана Царскосельского, Потап Конакоевич пошевелил пепельными, как у застоявшегося мерина, губами и соорудил из своих лицевых морщин и щетины недовольную мину:

– А, это ты, Митроха. Чего пришёл? Небось опять с Коськой шаромыжничать собираетесь? Должок принёс? – Он шустро глазами пробежался с головы до пят по заиндевелой фигуре пришельца. – Баклажка при тебе?

С недавних пор, а именно с июля прошлого года, пенсионер областного значения Кукиш считал, что Митрофан ему что-то должен. В тот день дворник Царскосельский, забредший на огонёк к своему товарищу по всевозможным напастям Касьяну Голомудько, выпросил у Потапа Конакоевича двухкопеечную монету. С её помощью он собирался позвонить из телефонной будки, что за три квартала, своей взыскательной начальнице Аполлинару Семидолловне и предупредить её, что завтра он на работу никак не выйдет по причине, охватившей его глубокой душевной депрессии.

Что-де врачи прописали ему успокоительные капли Морозова, лежачий режим и только положительные впечатления. На самом деле накануне Митрофану несказанно повезло. Он умудрился перехватить по случаю дюжину американских джинсов Levy's, правда, особого вьетнамского раскроя, произведённого в удалённой деревушке где-то под бывшим Сайгоном, ныне городом Хошимин. Эти уникальные джинсы, которые можно было безбоязненно носить до первого дождя (гарантия стопроцентная), спекулянт Царскосельский рассчитывал толкнуть с прибытком на городском рынке.

Телефонный аппарат общей доступности в коммунальной квартире дома №6/36 хронически не работал в связи с тем, что никто из жильцов за него платить не собирался. Каждый подозревал другого в злонамеренной привычке говорить больше положенного. По этой причине Митрофану и потребовалась эта злосчастная двухкопеечная монета.

Дав монету, что делать он никак не хотел, пенсионер Кукиш успел-таки крикнуть вслед выбежавшему на улицу Митрофану Царскосельскому:

– За тобой должок, Митроха. Пузырь принесёшь.

Теперь, же в промозглый февральский вечер, Потап Конакоевич, который восьмой месяц кряду безуспешно ждал от ворюги и проходимца Митрофана обещанную бутылку, миндальничать не собирался. Поэтому он сурово произнёс:

– Всё, теперь тебе кранты, Митроха. Готовься. Я тебя на счётчик поставил. Ежели следующий раз две пол-литры не принесёшь, я тебя на запчасти разбирать начну.

– Да хоть ящик, – безразлично отреагировал Митрофан и, отодвинув плечом в сторону выпивоху и симулянта Кукиша, прошёл в ярко освещённый коридор. Поднаторевший в рыночных разборках Царскосельский знал цену таким людям и не придавал их многозначительным намёкам и угрозам никакого значения. Тем более что ему было хорошо известно, что старый бузотёр Потап Конакоевич свой авторитет давно подрастерял по большим и малым городам средней полосы России. Многократно уличённый в карточной подмене, Кукиш не раз был бит по мордасам. С той незабываемой поры нечистому на руку шулеру Потапу вход в приличное общество, а также в рестораны средней руки был закрыт.

Знакомый до деталей коридор коммуналки ничем не поразил воображение Митрофана. Никакой новизны он в нём не наблюдал последние десять лет. Всё те же деревянные ящики с картофелем и луком, сломанные лыжи, ворохи тряпок, поставленные на попу велосипеды и даже один мотоцикл «Ява», который не заводился со дня своей покупки.

Обученный своим наставником дворником Энгельгардтом Потаповичем, бывший нерадивый комсомолец Царскосельский догадывался, что его короткая перебранка с пенсионером-стяжателем уже стала в деталях известна всем обитателям коммунального общежития. Гордые владельцы отдельных комнат и подсобных помещений жили по законам первобытного общества, предполагавшим острый нюх, острый глаз и острый клык.

Недоверие и всеобщая подозрительность властвовали над смешными понятиями человеческого сострадания и взаимопомощи. Особым полем битвы, на котором периодически вспыхивали большие и малые схватки не на жизнь, а на смерть, считалась общая кухня и примыкавшая к ней единственная уборная на одно очко. На площади в тридцать квадратных метров время от времени звучала самая изощёренная перебранка, сдабриваемая смачными матерными плевками.

Закопчённые до ручек кастрюли и сковороды, подгоравшие на чадящих примусах и керосинках, находились под неусыпным контролем всё замечающих глаз. Случайно выловленные в картофельном супе щетина от обстриженной сапожной щётки или обмылок хозяйственного мыла моментально вызвали шквал бездоказательных обвинений всех по кругу.

Тут же опытные бойцы, как по команде, хватались за швабры и веники, чтобы начать рыцарский турнир. После часа ожесточённого сражения мастера (или мастерицы) фехтования покидали торжище, чтобы заняться своими размочаленными причёсками, сломанными бигудями и размазанной по исцарапанным щекам губной помадой.

Остановившись перед дверью, за которой проживала личность со столь незаурядными способностями, как Касьян Голомудько, его друг и деловой партнёр Митрофан Царскосельский пару раз глубоко вздохнул и только после этого осторожно постучал костяшкой указательного пальца.

Дверь моментально распахнулась, и на пороге возникла колоритная фигура художника-концептуалиста Голомудько, человека среднего роста, отпраздновавшего свой тридцатилетний юбилей лет пять назад, с давно не чёсанной шевелюрой в мелких кудряшках и золотой фиксой во рту с правой стороны.

- Ты? – спросил Касьян.
- Я, – ответил Митрофан.
- Пришёл?
- Пришёл.
- Ко мне?
- К тебе.
- Зачем?

– Затем.

Художник Голомудько, шаркнув матерчатыми домашними тапочками со смятыми задниками, сделал шаг в сторону и произнёс:

– Проходи, только учти, я очень и очень занят.

Из столь содержательного диалога никто из насторожившихся в своих пенальных отсеках жильцов-коммунальщиков, и прежде всего уважаемый Потап Конакович, так ничего и не понял.

Касьян Голомудько жил скромно, но содержательно. Разумеется, в его комнате-полузале было всего понемногу, что необходимо для холостяка-одиночки, чтобы довольствоваться минимальным жизнеобеспечением и чувствовать себя достаточно комфортно.

Принадлежащая ему жилплощадь во времена былинные была частью большого зала для танцев с круглыми колоннами, в которой купец Нехорошев так любил устраивать балы с приглашением гостей из состава 3-й гильдии, к которой имел честь принадлежать. Польки, менуэты, вальсы, розовощёкие барышни и их чопорные кавалеры в белых манишках – всё кружилось и пело здесь когда-то, пока явившиеся неизвестно откуда без приглашения команды распорядителей-уравнителей не начали методично нарезать из бального зала жилые отсеки, в которые устремились диковинного вида пришельцы, коих вихри первой гражданской согнали с насыженных веками мест.

Через годы дошла очередь заселиться в бывшее купеческое гнездо и до отшельника Касьяна Голомудько, которому счастливая судьба вручила ключи от отдельной комнаты, в которой оказалась одна настоящая мраморная колонна.

В комнате стоял большой замечательный диван, на котором художник Касьян спал, а когда не спал, то сидел в мечтательной позе индийского йога и иногда принимал знакомых и незнакомых ему людей. В этом раю отшельника присутствовали стоявшие и валявшиеся на боку там и сям груды невымытых стаканов, тарелки в грязевых разводах, пустые и заросшие изнутри паутиной бутылки, а также ворохи не прошедших проверку на свежесть трусов, маек и рубашек с оторванными пуговицами.

Отдельного упоминания заслуживают десять-двенадцать пар носков, задубевших от времени и кислого пота настолько, что в них, не опасаясь промокнуть, можно было выходить на улицу, как в калошах, в самую мерзкую и слякотную погоду.

Понятное дело, что всё это винно-водочное и галантерейное великолепие создавало изумительную по вкусовым качествам атмосферу.

Был ещё платяной шкаф на три отделения, обращённый фасадом к двери, а тыловой стороной к дивану. На эту дверь колупаевский йог Голомудько любил вырезать ножницами и наклеивать заголовки из статей местных газет, таких как «Сельскохозяйственная правда», «Правда машиностроения» и многих других «правд», в том числе и из центрального печатного органа – «Колупаевская правда».

Газетные заголовки могли быть самыми разными, но острый глаз художника выбрал наиболее оптимистичные из них:

«Грибники испортили воздух в окрестностях Колупаевска»,

«Дочь шофёра и прядильщицы стала мотальщицей»,

«Нужен ли шпиндель маховику в роторе?»,

«Брат раздавил брата на глазах брата»,

«На Колупаевщине возродили сдельщину и кустарщину»

и т. д.

Броские заголовки из патриотической прессы гражданин Голомудько, отличавшийся, как мы понимаем, ослабленным общественным сознанием, ловко перемежёвывал с глянцевыми фотографиями из популярного в области, но запрещённого для широкого распростране-

ния журнала «Америка» с изображениями голливудских див в белоснежных бикини на фоне курортных видов островов изумрудного Карибского моря.

Тихими долгими вечерами, каких у художника-авангардиста было предостаточно, он любил полежать на любимом диване в одних трусах и майке, закинув одну тощую ногу в чёрных волосах на другую и рассматривая созданную его усилиями печатную палитру.

Читая и перечитывая призывные передовицы из областных газет, он чувствовал, как его грудь наполняется энтузиазмом и горделивым чувством сопричастности с кипучей многомиллионной деятельностью его родины. В такие моменты он представлял себя пролетарием с молотом в руках, воздетым для решительного удара по ядру капитализма.

Однако, когда его восторженный взор вдруг падал на картинки отдыха заокеанских миллионеров, то ясное осознание своего долга и убеждённости непримиримого борца с тлетворным миром Запада начинали туманиться опасными сомнениями.

Необузданное воображение творца рисовало ему виды иного рода. Вот он уже загорелый капитан за штурвалом собственной быстрокрылой яхты, обнимает перламутровую ботоксную красавицу. Рядом стоит стюард-мулат и держит поднос с двумя фужерами игристого шампанского «Дом Периньон» 1936 года.

Ум доморощенного философа и холодного аналитика погружался в мир яростных схваток двух взаимоисключающих начал, в которых он принимал самое активное умозрительное участие. Его диван превращался в диковинную летательную машину, парящую над широким плато, на котором разворачивалась эпическая баталия классовых противников. Миллионные орды сторонников противоположных социальных теорий неслись друг на друга, чтобы обрушить на головы супостатов шипастые дубины из научных трудов, сладкозвучных цитат и страстных призывов.

Всем нашлось дело в этой битве, и только Касьян Херомантьевич Голомудько в гордом одиночестве нарезал в вышине круги на своём диване-самолёте, хладнокровно наблюдая за сменой исторических эпох. Ему было недосуг упражняться в унижающем его человеческое достоинство мордобое своего ближнего. В пошлой теории конвергенции он зарёкся искать зёрна формулы всеобщего счастья и неподдельного ликования.

Величайшего творца философски обобщённых образов меньше всего волновали язвы капитализма и прорехи социализма.

С высоты своего величия и дивана, который он недогнущей рукой направил бороздить просторы Вселенной, Касьян Голомудько поочередно посылал всех землян и инопланетян, и особенно придирчивого участкового милиционера дядю Кузю, к очень ядрёной матери.

Так проходили часы, и борец за свободу и всеобщую справедливость мирно засыпал, утомлённый собственными страстями. Пробыв в тревожном забытии до вечера, художник-изобретатель пробуждался и чувствовал себя вполне счастливым, с ощущением того, что сегодня он сделал нечто великое. Значит, день прожит не зря.

Митрофан Царкосельский знал о чудачествах своего друга, поэтому решил не обращать внимания на кислую мину на его лице. Надо сказать, что помощник дворника и рыночный спекулянт заявился в самый неподходящий момент, когда Касьян только настроился, чтобы подняться в воздух на своём диване.

Потирая, как после падения с высоты, правую ягодицу, Касьян провёл непрошеного гостя к столу, с которого, освобождая место, разом смахнул пару листов ватмана с непонятными эскизами, которые напомнили Митрофану неуклюже прорисованную вчерне купюру в десять советских рублей в масштабе 1:10.

«Бедный Касьян. Его что, с голодухи перекосило? – мысленно посочувствовал Царкосельский своему приятелю и насильно пожал его вялую, но очень шершавую ладонь. – Такое

ощущение, что я пожал свёрнутый рулон наждачной бумаги. Теперь понятно, почему его прозвали Шершавым».

– Ты чего притащился? – недовольно спросил концептуальный художник, усиленно растирая рукой смятое лицо. Мало того, что его оторвали от философского полёта мыслей, так ещё нарушили последовательное развитие вечернего плана. Дело в том, что к гражданину Голомудько с минуты на минуту должен был зайти не менее удивительный и полноправный гражданин своей области Догугулия.

Догугулия Кустанай Блохотрясович был во всех отношениях незаурядным человеком, так как состоял в штате санитаров-ломовиков Колупаевской психиатрической лечебницы имени знаменитого доктора психиатрии Юлиуса Вагнера-Яурега, который, несмотря на свои неоспоримые нобелевские достижения, так и не сумел в нужное время разглядеть в почитаемом им фюрере и его поскрёбышах пациентов для своей клиники.

За несколько лет службы в профильном медицинском учреждении Кустанай Блохотрясович блестяще овладел мастерством выламывания рук, сопровождая сей оздоровительный процесс утончённой ударной техникой с обеих ног, обутых в высокие кирзовые сапоги. На спор он мог за пять секунд с завязанными глазами спеленать любого буйного клиента, который, оказавшись в смирительной рубашке, сразу начинал выглядеть как милый детёныш кенгуру, выглядывающий из сумки своей мамы.

Помимо выдающихся физических способностей санитар Догугулия заботился о повышении теоретических познаний в области облюбленного им раздела медицинской науки. Наслушавшись обрывков из разговоров коллег-врачей, он уверился в том, что увлечение рукоблудием ведёт к развитию шизофрении сразу на оба полушария коры головного мозга.

После долгих и мучительных размышлений Кустанай Блохотрясович сделал вывод о том, что всех претендентов на высокие должности, выше мастера-сантехника, надо сперва направлять на профилактику в психиатрическое отделение городской больницы. Там их будет ждать первоклассный мастер своего дела, врачеватель и костолом Догугулия, признававший из всех методов коррекции умственных отклонений человеческого организма лишь оборачивание в смирительную рубашку на неделю с гаком и целительное воздействие электрического разряда не ниже 380 вольт.

О том, что сам маленький Кустанай начал беспокоить свои первичные половые признаки сразу на пятый день после рождения, медик Догугулия скромно умалчивал.

По странному стечению обстоятельств санитар Догугулия и художник-примитивист Голомудько во многом дополняли друг друга и могли даже считаться родственными душами. Уступая просьбам, Кустанай всегда приносил Касьяну полный карман всевозможных таблеток непонятного назначения, которые с маниакальной настойчивостью без разбора выгребал из тумбочек больных и стеклянного шкафа в ординаторской.

Как ни удивительно, но хищническая деятельность Кустаная Блохотрясовича приводила к неожиданному результату. Оставшись без медикаментозного лечения, безнадежно больные пациенты значительно быстрее приходили в себя и шли на поправку. В их глазах появлялся блеск разума, а речь становилась спокойной и рассудительной.

Одним словом, Кустанай передавал Касьяну таблетки, а взамен получал стопку листов формата А4 с развлекательными рисунками на тему: «Половые органы и их роль в превращении обезьяны в человека».

Таблетки же доморощенному философу Голомудько нужны были, чтобы с их помощью воспарить на своём диване к порталам мироздания и познать сущность бытия. А медик Догугулия считал себя ценителем эротического искусства, ярким, но тайным представителем которого слыл творец-первопроходец из дома б/36, что по переулку, где когда-то, в достопамятные времена, паслись три ангорские козочки.

Так как всё, что связано с сексом, в городе Колупаевске и прилегающей к нему области было запрещено, то художник Голомудько был, несомненно, смелым человеком, так как мог огрести за свои художества вполне реальный тюремный срок.

По правде сказать, местный участковый дядя Кузя давно вычислил подпольного ваятеля и иногда навещался в его коммунальное лежбище для проведения назидательных и душещепательных бесед. При этом старался быть со своим подопечным мягкосердным, если не сказать точнее – снисходительным.

Что тут скажешь – творческая натура. Пожурив для порядка повинную голову Касьяна, дядя Кузя с лёгким сердцем и чувством выполненного долга покидал комнату художника-философа, унося с собой несколько крамольных рисунков на запрещённую тему – как бы для отчётности, а вернее, для личного пользования.

Талант живописца Касьян Голомудько открыл в себе давно. Как-то в шестом классе добрая учительница Галина Ивановна, рассматривая рисунок, исполненный забавным мальчуганом Касьяном, доверительно, в присутствии всего класса, громогласно сказала ему:

– Ты дубина, Касьян. Остолоп, какого мир ещё не видел. Ты даже собственную задницу нарисовать не сможешь. – Галина Ивановна была уязвлена в своих лучших чувствах. Вместо домашнего задания – воспроизвести контуры коринфской вазы – её ученик и непроходимый бездарь Голомудько изобразил нечто отдалённо похожее на ночной горшок с ручкой, всегда стоявший у него под кроватью.

Оплакивать свой позор маленький Касьян пошёл в школьный туалет, где, взгромоздившись с ногами на шаткий унитаз без крышки, долго шмыгал носом и размазывал по щекам слёзы. В расстроенных чувствах он сидел в запертой кабине до тех пор, пока его затуманенный взгляд не наткнулся на изображение нечто такого, что глубоко взволновало будущего живописца, если не сказать точнее – потрясло его до самых розовых детских пяток.

Неизвестный, но дерзкий пикчер скупым чернильным росчерком набросал на грязной стенке то, что лукавая соседка по парте одноклассница Катенька старательно скрывала под тщательно выглаженным школьным платицем.

Собрав в кулак всё своё мужество, пионер Голомудько отправился в дальний поход для того, чтобы открыть для себя библейскую тайну зарождения жизни. Он решил обойти все общественные туалеты столичного города Колупаевска.

Подытожив собранные данные, он понял, что мир полон загадок, и отважно включился в соревнование с лучшими туалетными живописцами города в стремлении превзойти их в своём мастерстве.

Касьян Голомудько рисовал везде. Вскоре немногочисленные, но доступные обычным гражданам туалетные комнаты в городских парках и магазинах покрылись шедеврами муральной живописи, под которыми стояла неброская, но крепко зашифрованная авторская подпись: «К. Мудь». Только посвящённые могли рассказать, что сей рескрипт составлен из букв, входивших в имя и фамилию художника-невидимки.

Школьник, а впоследствии великовозрастный лоботряс Касьян, не зная перерывов на сон и отдых, рисовал исключительно то, что есть у мальчиков, и то, что есть у девочек, с таким вдохновением, будто намеревался осчастливить человечество открытием, что все люди делятся на два противоположных пола.

Другие части человеческого тела, будь то голова, руки, грудь, ноги, ягодицы и живот, он с лёгкостью игнорировал. Его исступление было неисчерпаемо, а мастерство росло с годами. Перевалив двадцатилетний порог, Касьян приобрёл славу и неоспоримый авторитет в области нового, ранее неведомого для художественной богемы Колупаевска жанра. Расширив свой небогатый словарный запас малопонятной терминологией, он, уже не стесняясь, говорил о себе, что примыкает к школе маньеристов и является продолжателем творчества великого Джулио Романо, одного из гениев эпохи Возрождения.

Обнаглев от собственного самовозвеличения и обретя устойчивую группу почитателей своего искусства, Касьян уже не стеснялся делиться с ними секретами мастерства и каждый раз особо подчёркивал, что всегда работает на пленэре. В этом он был, пожалуй, прав, так как свой «пленэр» он держал при себе за ширинкой многократно стиранных штанов.

Однако существовало одно обстоятельство, которое приводило уважаемого мэтра в состояние глубокого расстройства. Однажды он неосмотрительно откликнулся на просьбу заведующей красным уголком родного дома, Розы Гиацинтовны Цветаевой, которая всю готовилась к познавательной лекции для жильцов дома 6/36 о вреде пьянства и о пользе здорового образа жизни. Лекцию должен был прочесть уважаемый профессор из ближайшего профмедучилища.

По замыслу Розы Гиацинтовны, лекция должна была сопровождаться наглядным плакатом, на котором внизу должна была валяться разбитая бутылка «Столичной» водки, над которой в солнечных лучах парил значок перворазрядника по бегу на средние и короткие дистанции. На изготовление тематического плаката Касьян взял пять дней, из которых четыре ушло на пьяный загул средней тяжести и опохмеляющие полёты на любимом диване.

Оставшиеся двадцать четыре часа последователь Д. Романо самозабвенно трудился над плакатом, но что бы он ни рисовал: значок или бутылку – у него всё равно получался мужской половой орган. Стил ню стал его проклятием, а разгневанная Роза Гиацинтовна всенародно обозвала Касьяна Голомудько нравственным негодяем. И, скажем прямо, не кривя душой и не смотря на начальственные лица, отчасти она была права.

Власть, естественно, была в курсе противозаконных художеств оригинального пейзажиста, но отнеслась к нему снисходительно. Всё-таки на дворе бушевала вторая половина восьмидесятых двадцатого века, и на многое уже можно было закрыть глаза. Поэтому где-то наверху было решено ограничиться лёгким внушением и перевести художника-новатора под неограниченный надзор участковой милиции.

Короче говоря, Митрофан Царскосельский пришёл к своему «другу» Касьяну Голомудько за партией оловянных солдатиков, которые намеревался сбыть на следующий день на центральном рынке.

– Ну что, Касьян, где твои «торчки»? – незлобиво спросил Митрофан.

Не говоря ни слова, Голомудько прошёл в тёмный угол своей комнаты, в котором за колонной в полном беспорядке держал наиболее ценные вещи, как-то: скрученные листы ватмана, старые холсты с осыпавшейся краской, приличную гитару с двумя оборванными струнами и запасные ботинки на зимний период. Из этого набора раритетов он вытащил самодельную плоскую коробку из серого канцелярского картона и, хмурясь, вручил её рыночному торговцу.

– Смотри, Митроха, не обмани. С продажной цены половина – моя, – не поднимая глаз, промолвил он.

Царскосельский лишь криво улыбнулся и открыл коробку, чтобы проверить комплектность содержимого. В ней ровными рядами лежали некие оловянные фигурки, которые, по замыслу их создателя, должны были изображать солдатиков с ружьями, знамёнами и двумя пушками. Фигуры были грубо выкрашены в синий и красный цвета. Их головы были приплюснуты и вытянуты вверх на манер загадочной традиции дикого индейского племени мангбету, а помеченные флуоресцирующей белой краской глаза сверкали так же яростно, как и обращённый в океан взор истуканов острова Пасхи, призванных отпугивать непрощеных визитёров.

Митрофан вынул одного солдатика из упаковки и с сомнением покрутил им в воздухе.

– Касьян. А ты не мог бы сменить стиль и делать свои «изделия»... э-э-э... в другой форме? – морща нос, спросил он. – Знаешь, нынче покупатель привередливый пошёл, – уклончиво пояснил рыночный воротила. – Четыре дня назад на базаре одна тётка, взглянув на твоё

оловянное «чудо», без предупреждения звучно смазала мне по морде. Говорит, мол, «ты сволочь и негодяй. Детей развращаешь. Где ты таких солдат видел? Они все у тебя похожи на твой огрызок в штанах». Милиционером грозила. Еле её на мировую уломал. Свою десятку пришлось отдать, чтобы пасть заткнула, а то народ уже подтягиваться начал.

– Ну, ты иди, иди, Митроха. Чего резину тянешь? – Ничего не поясняя, Голомудько принялся подталкивать своего «друга» к двери. Касьян уже беспокоился, что сейчас раздастся стук и в комнату войдёт санитар Догугулия. Таблетками художник-натуралист ни с кем делиться не собирался, даже со своим деловым партнёром Царскосельским. Чуть помедлив, добавил: – А на всяких дур внимания не обращай. Что они понимают в высоком искусстве? Это же ручная работа. Штучный товар. Оловянные игрушки – страшный дефицит. Ты лучше разговаривать с такими дурами научись.

– Ладно. Я пойду, – неожиданно быстро согласился Митрофан, понимая, что сегодня он ничего более существенного с хозяина комнаты сорвать не сможет. – Но учти. Если товар не пойдёт, я цену скину. Мне, видишь ли, долго светиться на базаре не хочется. Заметут, а мне лишний привод не нужен. В ЖЭК напишут, премии лишат.хлопот не оберёшься.

– Хорошо, хорошо. Будь по-твоему, – торопил Касьян своего компаньона. Он уже представлял себе, как высыплет в рот пригоршню разноцветных таблеток, которые ему принесёт Кустанай Догугулия, и отправится в мир неопределённых фантазий искать идеи для творческого порыва.

– Тогда я пошёл, – нерешительно мяукнул помощник дворника Царскосельский, всё ещё не сходя со своего места. – Я тут зайду к Клеопатре. Скажу, что от тебя. Не возражаешь? На улице мороз скаженный. Без подогрева окоченею. – Митрофан решил выжать всё возможное из своего визита в дом образцового общественного порядка.

– Да иди ты, наконец, – не выдержал Голомудько. – Занят я, понимаешь? Занят. А Клеопатра дальше по коридору живёт, крайняя дверь. Да ты сам всё знаешь. – Касьян выдворил из комнаты разговорившегося гостя и почти насильно сунул ему на прощание свою шершавую ладонь и картонку с оловянными уродцами.

Клеопатра Вормсдухтовна Уйсик была женщиной сметливой и оборотистой. Чудачества перестройки и антиалкогольная пропаганда её ничуть не смутили. Даже наоборот. Она мужественно бросилась закрывать бреши в торговле винно-водочной продукцией своей безразмерной грудью и быстро прославилась в кругах, близких к уличному алкоголизму.

В свои сорок пять она трижды испытала на себе прелести супружеской жизни и быстро сообразила, что тянуть на себе воз домашнего хозяйства больше не собирается. Никакой мужзабулдыга и орава плаксивых детей у неё на шее сидеть не будут.

Куда как хорошо быть одной, наслаждаться свободой и время от времени подзывать к себе охочих мужичков с устойчивым доходом. Тем более что таких обводов бёдер, как у неё, ещё надо было поискать. Как известно, за аренду трёх квадратных метров сочного и упругого тела платят, и платят по повышенной ставке.

Возможность поработать поварихой, сиделкой или воспитательницей в детском саду гражданка Уйсик даже не рассматривала. Достаточно ей ошибок молодости и полугодового пребывания в грохоте ткацкого цеха. Лущить нежные пальцы на подвязывании оборвавшихся нитей за девяносто рублей в месяц – смеётся, милейшие?

Между тем, продемонстрировав мастерство профессионала-горнолыжника, делец Царскосельский успешно пробрался по длинному коридору, уверенно увернувшись от стенобитных углов нескольких сундуков, огромных и неповоротливых, как нильские бегемоты. На сей раз он не нарушил пыльного равновесия вещей, вынесенных обитателями коммунального зоопарка за пределы своих пеналов, что замечательно сказалось на его здоровье.

В прошлое своё посещение дома 6/36, что по тому же Трёхкозьему переулку, Митрофан неосмотрительно прикоснулся плечиком к трёхстворчатому шифоньеру с сорванными дверцами, за что был незамедлительно вознаграждён солидным ударом по ничем не защищённой голове. Внушительная коробка с вложенными в неё за ненадобностью двумя чугунными утюгами целых два десятилетия дождалась своей жертвы, притаившись наверху злокозненного шкафа.

Сказать, что данное происшествие прошло для него бесследно, студент-спекулянт, разумеется, не мог. Темечко ныло до сих пор, особенно долгими дождливыми вечерами. Кроме того, он целых четыре недели восстанавливал навыки правильной, членораздельной речи, которая в своё время так помогла ему отбиться от наскоков кафедры марксизма-ленинизма. Однако и теперь, особенно в минуты душевного волнения, он не мог выговаривать букву «и», которая упорно замещалась в его речи на досадное «ы».

Так, в час пик, оказавшись в толпе невменяемых трамвайных пассажиров, он уже не решался обращаться к ним с вежливой просьбой: «Разрешите передать проездной билет». Вместо этого у него выходило: «Разрешыте передать проездной былет». На что неизменно получал недвусмысленный ответ: «Понаехали тут на нашу голову».

Ещё хуже у дворника-симулянта Царскосельского выходила попытка начать ухаживания за какой-нибудь колупаевской красоткой. Особенно если в его исполнении звучала столь галантная фраза:

– Девушка, разрешыте прыгласить вас в кино.

Тут уж можно было не сомневаться, что дробный стук каблучков унесёт прочь их обладательницу со скоростью стремительной газели, бегущей в чашу непролазного каратышника, чтобы укрыться от горячего кавказского абрека.

Оказавшись перед искомой дверью, Митрофан пару минут выдержал подготовительную паузу и только после этого нерешительно нажал на ручку. К его удивлению, дверь поддалась сразу и без скрипа приоткрылась. Наученный житейским опытом, гласящим, что в незнакомое помещение заваливаться сразу не рекомендуется, даже если дверь в него не закрыта, пронира Митрофан вначале осторожно просунул в щель голову и принялся ею вращать из стороны в сторону.

– Ну что ты там топчешься, заходи уж. Сквозняки не устраивай. – Голос говорившего исходил от широкой спины человекообразного существа и принадлежал Клеопатре Вормсдухтовне, которая была занята тем, что из большого дюралевого бака разливала по литровым бутылкам молочно-бледную жидкость. В воздухе стоял спёртый до уровня предельной насыщенности запах дешёвой браги.

Знаменитая самогонщица Уйсик, известная среди приближённых лиц под кодовым именем Клёпа, своим образом жизни и набором моральных ценностей полностью соответствовала глубокомысленному изречению коммунистического исследователя человеческих пороков Карла Хайнриха Маркса. «Нет такого преступления, на которое не пошёл бы капиталист ради прибыли в 300%», – заключил он.

Комната, в которую с долей опасения просочился Митрофан Царскосельский, представляла собой территорию, на которой разместился мини-цех по изготовлению контрафактных горячительных напитков. В ней находились сразу три варочные плиты, которые на скорую руку были подключены к трём пузатым газовым баллонам. Пользователям столь сложного оборудования было, очевидно, невдомёк, что наспех прикрученные проволокой подающие резиновые шланги могут запросто обеспечить им, а заодно и всем остальным обитателям «трёхкозьей слободки» беспосадочный полёт на Луну.

На плитах громоздились огромные алюминиевые чаны, опутанные сетью трубок с манометрами и заливными воронками. Процесс самогонварения у пройдошистой Клеопатры Вормсдухтовны был поставлен на широкую ногу и, судя по всему, приносил ей неплохой доход.

Кругом в штабелях и так, в беспорядке, были расставлены дощатые ящики и фанерные короба, в которых размещались бутылки и бутылки, некоторые ещё пустые, но большинство заполненные горючей жидкостью.

Ассортимент выпускаемой продукции был крайне разнообразен. На бутылках красовались рукодельные этикетки с броскими названиями: «Водка «Колупаевские родники», мягкая», «Напиток алкогольный «Колупаевские закаты»», «Коньяк марочный «Колупаевская лоза». Разумеется, на вершине торговой пирамиды красовалась «Водка особая «Колупаевский кремль»». Действительно, в окрестностях города находились развалины какого-то древнего монастыря, которые местные краеведы с маниакальным упорством выдавали за первопрестольные постройки, пережившие Всемирный потоп.

Не скрою, наиболее строго охраняемым секретом изготовителей-вредителей являлся уникальный рецепт, в основу которого была заложена нехитрая концепция. Суррогатное пойло могло быть доведено до нужной кондиции, если в его состав добавить разной степени насыщенности эссенцию из крепко заваренного чая, настоянного на гуталине, с включением пережжённого сахара.

Разумеется, в пределах своего подпольного цеха госпожа Уйсик не жила. Левые деньги с лёгкостью обеспечили их обладательнице трёхкомнатную кооперативную квартиру в престижном районе Колупаевска с видом на тихоструйную речку.

Своим появлением махинатор Царскосельский нарушил отработанную до автоматизма конвейерную идиллию: от усердия поджав губы, Клёпа разливала в разнокалиберные ёмкости пятидесятиградусную муть, а её подручный, уже известный нам старый дядька Кукиш Потап Конакоевич, запечатывал их пластиковыми и деревянными пробками.

Свою работу он делал исправно, так как от натуги беспрерывно сопел, кряхтел и чуть ли не рыгал. Окончательно вставший на путь разложения Потап Конакоевич был одет в рваную промасленную спецовку, которую однажды приволок со склада, на котором когда-то так славно трудился.

– Чего ты, Митроха, всё шляешься? Пра-слово – шакал. Людей от дела только отрываешь. – Кукиш с раздражением отложил пробочный пресс и повернулся всем корпусом к нежеланному посетителю, которого он так страстно невзлюбил по выдуманной им причине якобы утаённой бутылки марочной водки.

Сегодня пенсионер-мошенник был особенно не в духе. Он крепко не выпался. Всю ночь его преследовал жуткий сон, как какой-то мужик без имени и брюк, но в белой расстёгнутой рубашке гонялся за ним с огромным бронзовым подсвечником в руках, чтобы обрушить его на голову карточного шулера Кукиша. «Ужо, Потапка, достану тебя! Все рёбра пересчитаю, тысячекратный хам и паразит! Сучье вымя!» – орал босоногий мужик и бессчётно поминал мать нечистого на руку преферансиста.

– Действительно, Митрофан, ты с чем к нам пожаловал? – на выдохе устало спросила Царскосельского самогонщица Клеопатра Вормсдухтовна. Она рада была возможности передохнуть, а заодно перебраться словами с такой экзотической личностью, какой ей представлялся заявившийся в её апартаменты дворник-коммерсант.

Клёпе уже порядком осточертели все эти банки, склянки и тяжёлые, как гири, варочные кастрюли. Голова у колупаевской бутлегерши шла кругом. Ароматы низкопробного пойла основательно пропитали её мозги. Что ни говори, но труд на ниве производства подпольного алкоголя тяжёк. Огненные цифры статьи 158 УК РСФСР витали в воздухе и грозили обрушиться на головы бедовых предпринимателей.

Перспектива выезда на дальнейшее поселение на три года с конфискацией имущества немало занимала мысли неутомимой воительницы с советским законами.

Клеопатра Вормсдухтовна одёрнула на себе длинную кофту грубой домашней вязки, которую она надела прямо на голое тело и потуже подвязала шерстяным пояском. После чего сдула со щеки чёрный, как у вороны, локон и добавила:

– Знаю, о чём ты хочешь меня попросить. Так вот, в который раз говорю тебе – нет. Ты парень хороший, но для моего предприятия не подходишь.

– Побойся бога, Клеопатра. Вспомни о моих заслугах. Не я ли подтащил тебе оптовиков с рынка? – делано возмутился Митрофан. – По-моему, ты с них до сих пор неплохо имеешь?

– Но то дело прошлое, и, кажется, я с тобой за него расплатилась, – не меняя тональности в голосе, ответила Уйсик и прислонилась ягодицами к прилавку. Как женщина, знающая себе цену, она была не против, если мужчины, которые были моложе лет на десять и более, обращались к ней на «ты». Такая манера общения возвращала к незабываемым годам юности и льстила её самолюбию. Кроме того, она с удовольствием про себя отметила, что стоявший напротив дворник-студент не может оторвать заторможенного взгляда от её шестиразмерных грудей, которые вновь в который раз стали пролезать сквозь разъехавшийся ворот шерстяной кофты.

Будучи женщиной состоятельной, Клеопатра не отказывала себе в удовольствии выбирать из мужского поголовья племенных самцов, сохранивших молодость и боевитость. Разумеется, старый мерин Кукиш был не в счёт. Кроме того, он находился у неё практически на иждивении и еле-еле справлялся с обязанностями «прислуги за всё».

Другое дело ваятель-натуралист Голомудько. Этот был ещё молод и ещё мог что-то. Поэтому дама полусвета периодически подпускала его к своей царственной руке, а заодно и к некоторым другим частям тела.

Но со временем в отношении Касьяна у Клёпы начали появляться определённые сомнения. Тайна таблеток из сумасшедшего дома была ей известна. Невнятное мычание любовника по ночам и участвовавшие функциональные сбои в самые захватывающие моменты стали раздражать её, и Клеопатра стала серьёзно задумываться о замене исполнителя.

Митрофан Царскосельский был одним из возможных вариантов. Поэтому Клеопатра довольно милостиво продолжила с ним общаться:

– Ты пойми, дурачок. Я о тебе больше забочусь. Сколько у тебя приводов за последний год? Три? Четыре? Многовато. А у меня критерии. Ты знаешь, что это значит? Кри-те-рии.

– Отступишь от правил, Клео, – сокращённое до минимума имя Клеопатра в устах мастера рыночной интриги прозвучало по-иностранному помпезно, с налётом парижской галантности. Этим нехитрым приёмом Митрофан хотел оживить бутылочное сердце бутлегерной патронессы и вызвать к себе её сочувствие. Ему до чёртиков надоело торговать оловянными «торчками» Голомудько. Душа требовала простора и выхода на новые горизонты. Радужная перспектива стать одним из дилеров в системе сбыта контрафактного алкоголя госпожи Уйсик сулила немалые материальные выгоды.

– Я всё могу, Клео. Всех знаю на рынке и за его пределами, – продолжал увещевать неуступчивую даму дворник-махинатор Царскосельский. – Если хочешь знать, все дворники в Колупаевске подо мной ходят. А сколько сантехников, слесарей и мусорщиков в Колупаевске? Считала? Армия. Все глотку промочить хотят. До всех дойду, весь жёковский планктон для тебя окучу. Это же какие деньги выходят? Соображай. А меня ты знаешь. Моё слово свято, что твой кремль. На меня можешь положиться, как на гранитный памятник Гарибальди, что у нас в Новых Выселках стоит.

В данном случае студент-перестарок Митрофан явно покривил душой. Не далее, как месяц назад, оказавшись в милицейском околотке, он, торопясь и брызгая слюной, выкладывал под протокол всю грязь, которую успел насобирать за отчётный период в отношении родной жилищно-эксплуатационной конторы и снисходительного к нему начальника Бельбель Уша-

товича. Не пожалел даже любвеобильную ответственную за дворницкие дела Аполлинарию Семидолловну и её разговорчивого какаду, записав того в скрытые антисоветчики.

И теперь, набиваясь на нелегальную работу в распространители дурного зелья, он вынашивал двойной и коварный план. Если органы правопорядка не заметут его на этом деле, то за год он сумеет нащепать для себя весьма кругленькую сумму, а если всё же прихватят, как говорится, с поличным, то он с лёгкой душой сольёт и Клеопатру Вормсдуховну, и надоевшего ему своими подозрениями Потапа Конакоевича, и всю их шайку-лейку уличных торгашей. А там, чем чёрт не шутит, может, оперативники предложат ему возглавить подпольную алкогольную сеть, чтобы отлавливать через неё, как в мышеловку, мелкий преступный элемент? Опять без наvara он не останется. Одним словом, осведомитель отделения номер шесть под кодовым псевдонимом Веник хотел отличиться с прибылью для себя.

Но Клеопатра от своего не отступала и принялась в который раз растолковывать наивному юноше суть своего промысла.

«Бедный мальчик, видимо, совсем обнищал. Надо бы его приподнять. Место на моей груди для него всегда найдётся. Касьяна отодвину. Надоел уже. Пусть он лучше на своём диване за своими бреднями полетает. Мне же молодая кровь нужна, а не кайфовый перекосяк в голове, да чтобы не теребил, а как следует промял, до самого копчика. Митроха, надеюсь, справится. Я из него сделаю кроватного акробата. Надо бы поразмыслить», – с разгорающейся надеждой на лучезарное будущее думала она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.